

Избранное

НЕ ножик
НЕ Сережи
НЕ Довлатова



М. БЕЛЛЕР

М. БЕЛЛЕР

Михаил Веллер

**Не ножик не Сережи
не Довлатова (сборник)**

«АСТ»

Веллер М. И.

Не ножик не Сережи не Довлатова (сборник) / М. И. Веллер —
«АСТ»,

ISBN 5-17-038568-4

Сборник избранного «Не ножик не Сережи не Довлатова» включает в себя необыкновенно точные и глубокие описания как трагедии эмиграции советской литературы, так и фигур и судеб самих писателей в широком диапазоне от сарказма до романтизма. Первое появление романа в печати вызвало памятный литературный скандал, отголоски которого не утихли и сегодня. Содержание сборника: Как вы мне надоели Ножик Сережи Довлатова Не ножик не Сережи не Довлатова Пир духа Кухня и кулуары Прихожая и отхожая Чернила и белила Ледокол Суворов Семенов и Штирлиц Графоман Жюль Верн Киплинг Шедевр доктора Конан Дойля Три мушкетера Черный Принц политической некрофилии Перпендикуляр Зиновьев Паршивец Паршев Генерал Трошев: Рецензия для главнокомандующего

ISBN 5-17-038568-4

© Веллер М. И.

© АСТ

Содержание

Как вы мне надоели	5
1. Ножик Сережи Довлатова	5
2. Не ножик не Сережи не Довлатова	37
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Михаил Веллер

Не ножик не Сережи не Довлатова (сборник)

Как вы мне надоели

1. Ножик Сережи Довлатова *Литературно-эмигрантский роман*

В Копенгагене я сделал сделку. Заработанные лекциями деньги сунул в свою книжку, а книжку подарил журналистке из газеты с труднопроизводимым названием. После чего пошел по магазинам.

Одна из кожгалантерейных лавок прогорала в дым, судя по ценам. Роскошный кейс с номерным замком, стоивший напротив полторы тысячи крон, здесь предлагался за сто пятьдесят. Я вспотел, час пытаюсь обнаружить суть подвоха. Жалко тратить на подарок себе самому, разве что ты на этом здорово сэкономишь. Бедный пластмассовый дипломат мне омерзел. При малейшем недосмотре он вдруг делал «Сезам, откройся!», вытряхивая барахло под ноги прохожим. В Венеции он раскрылся на мосту, и фотоаппарат прыгнул из него в канал, только булькнул. Ненавижу Венецию.

Магазин закрывался. Я принял решение. Продавщица сломала ноготь, выставляя мои любимые числа. После чего я достал бумажник и показал ей, что там пусто. В более темпераментной стране меня бы убили.

Вялый народ эти датчане. Недаром викинги перед дракой нагрызались мухоморов.

Редакцию все давно покинули. Журналистка отправилась проводить уик-энд на яхте. Вы видели фильм «Торпедоносцы»? Так яхт там чертова прорва, все берега заставлены.

Пароход у меня уходил в восемь утра! А через наш банк получишь лишь соболезнавание о валютных трудностях державы. В кармане брякала мелочь, сигареты кончались. Хотелось жрать. Хотелось выпить и отвести душу.

Я побрел найти немного понимания к московской знакомой, недавней эмигрантке. Она жила в центре, зато без горячей воды. Мы выпили водки, закусили бананом и обматерили Данию. Одна из образцовых...

Последним ее впечатлением о родине было знакомство с Александром Кабаковым. Это сильное и приятное впечатление еще не изгладилось, оно подпитывало ее интеллектуальный патриотизм.

Пока она по частям мылась холодной водой, я стал читать «Сочинителя». Автор наслаждался мужской любовью интеллигента к женщине и оружию. «Он с треском вспорол брезент швейцарским офицерским ножом с латунным крестом на рукояти».

Если швейцарские офицеры соответствуют своим ножам, то их можно ловить сачками. Я начал открывать дипломат, и меж блокнотов и книг вылетел под ноги замерзшей хозяйке именно швейцарский офицерский нож. Он размером в палец. Со множеством складных штук-чек для облегчения офицерской службы. Им можно нарезать колбасу, открыть бутылку, провертеть дырочку для ордена и вырвать волосок из носу.

Случайно, стало быть, на ноже карманном найди отметку дальних стран.

Этот ножик подарил мне Довлатов. В таллинском журнале «Радуга» мы напечатали впервые в Союзе его рассказы, и он переслал редакции подарки: пробный флакончик французских духов, что-то пишущее и складной ножик с латунным крестиком на вишневой пластмассовой щечке. Редакция была дамская, ножик взял я. Приложенная в футляре инструкция на пяти языках, включая китайский, просвещала: «Швейцарский офицерский нож! Из наилучшей стали!» Китайский язык объяснялся местом изготовления: там дешево.

Теперь-то мы извели качества дешевых китайских товаров. Возможно, оно основано на надежде свести продолжительность, и без того краткую, нашей жизни, и без того горестной, к веку воробья, истребленного рисоводческим кооперативом. Страдающие недостатком жизненного пространства китайцы умны, терпеливы и настойчивы. Их зоркие, прицельной суженности глаза вежливо смотрят через Амур. Восток научился проникать удаленность времени и пространства задолго до скудоумных итальянцев с примитивом их линейно-геометрической перспективы. И в дальней перспективе, где держава перетекает и делится, как амеба, никуда мы не денемся от передела территорий. Пьеса о территориальном суверенитете написана давно и называется «Собака на сене».

Когда-то я жил на китайской границе, на Маньчжурке. Рубежная станция Забайкальск называлась тогда Отпор! Доотпирались.

И китаец звучало у нас символом честности и трудолюбия. Несравненное качество китайского ширпотреба памятно старикам. Равно как и победоносная борьба с мухами, воробьями и гоминдановцами. Смелый, как тигр. Двадцатизарядный маузер Ли Ван-чуня не могло заклинить.

Восторгающие «Пионерскую правду» любовь и уважение к братским китайцам не мешали пацанам травить бурятов. То, что буряты жили в этой степи спокон веков, было их личным и никого не колышавшим горем. Бурят было словом ругательным. Синонимом его было слово дундук.

Много лет спустя, студентом ленинградского университета, практикант в журнале «Нева», я с недоверчивым удивлением узнал от завпрозой, покойного Владимира Николаевича Кривцова, писавшего тогда роман о первом российском после в Китае отце Иакинфе Бичурине, что до революции, при изрядной малограмотности в России, мужчины – монголы и буряты были грамотны поголовно и весьма. Мальчиков отдавали на воспитание в дацаны, откуда они возвращались обученными и причастившись восточных мудростей. Это мы им потом дацаны закрыли, лам перешлепали, а прочим ввели кириллицу: Маша мыла раму.

Вот в том же отделе прозы я впервые услышал фамилию Довлатова. Я вообще услышал там много нового и интересного. Например, что Октябрьская революция – ну и что, сделали лучше? Я клацнул от неожиданности своими белыми комсомольскими зубами; что же касается ответа, так это сейчас, двадцать три года спустя, все стали умными и храбрыми.

За эти двадцать три года задавший мне этот вопрос с ехиднейшей и ласковой улыбкой Самуил Аронович Лурье, старший (и тогда единственный) редактор отдела, ах Джон, а ты совсем не изменился. Неизменно – худ, лыс, сутул, узкоплеч и очкаст: гуманитар-интеллигент, разве что зав в том же отделе. Нужно было пережить застой, перестройку, распад, полдюжины главных и ответсекров, непотопляемо пройти скандалы и суды, сдать роскошные покои фирмам нуворишей и ужаться в боковые комнатки, обнищать и уменьшить формат на скверной бумаге, чтоб открылось: что сутулость скрадывает высокий рост, из растянутых рукавов свитера торчат ширококостные волосатые запястья, в объятии Саша Лурье жилист и тверд на ощупь, и хорошо познается в способности твердо принимать любое количество спиртного, отличаясь изящнейшим умением по мере возлияния интимно изливать гадости тому, кто платит за выпивку. Учитывая должность и реноме лучшего ленинградского критика, поставить ему хотели многие. Справедливость требует отметить, что из этих многих у очень малых доста-

вало умственных способностей вычленишь суть витиевато-иронических фраз, которые с тонкой ухмылкой накручивает им на уши поимый собеседник.

Лурье и пересек меня с Довлатовым забавным образом. Это образ всех его действий.

Я был старательным практикантом. И мою старательность решили поощрить материально. Возможно, к тому отдел прозы подтолкнула совесть. В течение месяца всю работу в охотку делал я один, освободив зава и редактора для их собственных творческих нужд. Я не перенапрягся. В числе непонятого мною в литературой жизни осталось, чем могут заниматься в ежемесячном журнале больше трех человек. Некрасов был вообще один, не считая как раз Авдотьи Панаевой и ее мужа Панаева: их функции изучены литературоведами и понятны. Мое непонимание встречает у тружеников редакций раздраженный протест.

Меня решили оплатить посредством редакционного гонорара за отшибную внутреннюю рецензию, из расчета три рубля за авторский лист рецензируемой рукописи.

– Миша, – сказал Лурье, вручая мне папку с надписью «Сергей Довлатов. – Зона.», – пусть совесть вас не мучит. Напечатать мы это все равно не можем. Увидите: там зэки, охранники, пьянки, драки – Попов (главред) этого не пропустит в страшном сне. А если чудом решил бы пропустить – снимет цензура. А если не снимет – то снимут нас всех. Но этого, к счастью, произойти не может, потому что Попов дорожит своим креслом, и если встречается в тексте слово «грудь», он подчеркивает его красным карандашом и гневно пишет на полях: «Что это?!». И это после нашей редактуры. А если он увидит слово, например, «сиськи», его просто свезут в сумасшедший дом. Так что – пишите. Сами понимаете. Обижать человека не надо, хороший парень, я его знаю, в общем, все равно это не литература... сочините что-нибудь такое изящное, отметьте достоинства, недостатки, посетуйте в заключение, что «Нева» не может это опубликовать. И обязательно пожелайте творческих успехов автору. Страниц пять, больше не нужно. Дерзайте: я не сомневаюсь, что у вас получится.

Вспоминая о Хемингуэе, Джек Кейли пишет: «При первом знакомстве Хемингуэй произвел на меня впечатление туповатого парня, и не раз производил такое же впечатление впоследствии». Таким образом, «Зона» не произвела на меня впечатление литературы. К моему облегчению, не пришлось даже кривить душой. Я всего лишь подошел к решению задачи с предварительным умыслом и готовым ответом. Позднее я узнал, что это называется журналистским профессионализмом.

И все-таки «Зона» без нажима запоминалась. Она была не похожа на прочее, идущее в журналах.

Первая в моей жизни рецензия была лестно оценена талантливым ленинградским критиком и редактором Лурье и принесла мне тридцать рублей. Именно и ровно. Первый в жизни гонорар памятен, за что получен – памятно менее, а уж ничего не значащая фамилия автора, послужившая лишь предлогом к гонорару, изгладилась из воспоминаний быстро и начисто за событиями более интересными и значительными. С утра до ночи один в отделе я сортировал рукописные завалы, писал письма, правил гранки и в пределах малых полномочий дипломатично беседовал с посетителями, принимая свежие рукописи и уклоняясь решительных ответов. Предмет моего злорадного торжества составило редактирование идущей в набор повести великого писателя Глеба Горышина про то, как он поехал на Камчатку, землепроходец. На Камчатку двумя годами ранее я на спор добрался за месяц без копейки денег от Питера, и цыдулю Горышина, пользуясь анонимной безнаказанностью внутриредакционной машины, перередактировал вдрызг. Опасался, что маститый автор возбунтует по ознакомлении с публикацией, но позднее не последовало ни звука. Цимес был в том, что проходивший в Ленинградской писсорганизации под кличкой «Змей Горышин», обликом более всего напоминая сподвижника Карабаса-Барабаса пьявколова Дуремара, а бездарностью казеиновую сосиску, являлся вышеупомянутой организации третьим секретарем, то есть имел довольно власти испортить кровушку любому.

За этим самозабвенным бесчинством и застал меня друг-однокашник Серега Саульский, трепетно донесший в редакцию свое первое прозаическое произведение. Заготовив фразы к беседе, он постучал под табличкой «Отдел прозы» и водвинулся с почтительным полупоклоном.

– Присаживайтесь, добрый день, – казенно-приветливо бросил я, не отрываясь от художественного выпиливания по тексту.

– А... э... – подал ответный звук посетитель, и я узрел выпученные саульские глаза и отпавшую челюсть. За двухметровым редакторским столом сидел я без пиджака, и смотрел вопросительно.

С полминуты Саул напряженно соотносил визуальный ряд с семантическим. Потом выматерился и закрыл рот.

– Сука, – сказал он. – Пришел на хрен в святая святых. Молодой автор, тля, с трепетом. Первый рассказ на суд толстого журнала. А там Мишка Веллер в домашних тапочках.

– Гадская жизнь, – согласился я. – Когда кадет Биглер становится генерал-майором и лично является беседовать с Богом, то Богом уже работает капитан Сагнер.

– А ты кем здесь работаешь?

– Практикуюсь.

– Я вижу. Так рассказ-то есть кому дать прочесть?

– Есть.

– Кому?

– Мне.

– Тебе-то на хрена?

– Прочту.

– Спасибо. Большое спасибо.

– Пожалуйста. Это наша работа.

– А дальше?

– Могу написать на него рецензию, – предложил я.

– Зачем?

– Для гонорара.

– И много ты уже написал?

– До фиги. Одна под рукой – хочешь прочитать?

«Я иногда думаю, – признался Саул много позднее, – что вот это несовпадение ожидаемого и встреченного так на меня тогда подействовало, что именно поэтому я в „Неву“ ничего больше не носил. И никуда не носил. И вообще писать прозу бросил. К счастью. А вдруг, думаю, там опять какая-нибудь знакомая падла сидит. Разрушил ты, Михайло, хрустальную мечту юной души о храме высокой литературы.»

Мы с ним нажирались тогда в Париже, куда он переселился давным-давно, перебирая славные воспоминания.

– Ты писал хорошо, – сказал я. – Как, впрочем, и все, что ты делал. И бросал. Зря. Жаль.

Эта была правда. Боксеры завидовали его боксу, барды – песням, журналисты – статьям, и все вместе и люто – его успехам у баб.

– Да ну, Михайло, какая на хрен литература, – сплюнул он с гримасой суперменистого киноактера в роли неудачника. – Кому, зачем... Когда Кортасар работал здесь в ЮНЕСКО, коллеги в комнате не подозревали, что он чего-то там пишет. Было время Солженицына всюду продавали на килограммы – его знали. Вот Лимонов надрывался шокировать, как он негр минет на помойке делал – ошарашил: уровень откровенности непривычный; у всех метро продавали. Европейская культура... Хотя французскую любовь придумали, сами они полагают, французы, но если бы Бодлер описал на уличном аргю, как он делает минет Рембо, французы бы сильно удивились.

Еще в СССР еще в миллионнотиражных журналах еще шумела дискуссия о праве на литературную жизнь табуированных слов. С ученым видом поднимаясь над интеллигентской неловкостью, полумаститые писатели и доктора филологии защищали в печати права мата на литературное гражданство, светски впиливая в академические построения ядерный корень. Сыты лицемерием, хватит, свобода так свобода. Урезать так урезать, как сказал японский генерал, делая себе харакири. Уж отменять цензуру – так отменять, значит.

Из скромности я помянул, что первым в СССР табуированные, они же неприличные, нецензурные, матерные, грязные, площадные, заборные, похабные, слова напечатал ваш покорный слуга зимой 88-го года в таллинском журнале «Радуга». Мы в трех номерах шлепнули кусок из аксеновского «Острова Крыма» и, балдея от собственной праведности, нагло приговорили: мы не ханжи, из песни слова не вырубешь топором, автор имеет право. В набранном тексте матюги торчали дико. Глаз на них замедлялся и щелкал. Главный скалил зубы и подначивал: «Давай-давай!». Союз трещал, Эстония уплывала в независимость, главный был из лидеров Народного фронта, уже никто ничего не боялся – с на полгода опережением российских событий, свобод и самочувствий: мат был волей, реваншем, кукишем. В этом опережении России скромная «Радуга» первой в Союзе дала и Бродского, и Аксенова, и «Четвертую прозу», и до черта всего. Смешное время; веселое; знали нас, знали, в столицах выписывали. Что мат.

Материться, надо заметить, человек умеет редко. Неинтеллигентный – в силу бедности воображения и убогости языка, интеллигентный – в неуместности статуса и ситуации. Но когда работяга, корячась, да ручником, да вместо зубила тяпнет по пальцу – все фонемы, что из него тут выскочат, будут святой истиной, вырвавшейся из глубины души. Кель ситуасьон! Дэ профундис. Когда же московская поэтесса, да в фирменном прикиде и макияже, да в салонной беседе, воображая светскую раскованность, женственным тоном да поливает – хочется послать ее мыть с мылом рот, хотя по семантической ассоциации возникает почти физическое ощущение грязи ее как раз в противоположных местах.

Вообще чтобы святотатствовать, надо для начала иметь святое. Русский мат был подсечен декретом об отделении церкви от государства. Нет Бога – нет богохульства. Алексей Толстой: «Боцман задрал голову и проклял все святое. Паруса упали.» Гордящийся богатством и силой русского мата просто не слышал романского. Католический – цветаст, изощрен – и жизнерадостен. «Ме каго эн вейнте кватро кохонес де досе апостолес там бьен эн конья де ля вирхен путана Мария!» Вива ла република Эспаньола.

Экспрессия! Потому и существует языковое табу, что требуются сильные, запредельные, невозможные выражения для соответствующих чувств при соответствующих случаях. Нарушение табу – уже акт экспрессии, взлом, отражение сильных чувств, не вмещающихся в обычные рамки. Нечто экстраординарное.

Снятие табу имеет следствием исчезновение сильных выражений. Слова те же, а экспрессия ушла. Дело ведь не в сочетании акустических колебаний, а в информации, в данном случае – эмоционально-энергетической, которую оно обозначает. Дело в отношении передатчика и приемника к этим звукам. Запрет и его нарушение включены в смысл знака. При детабуировании сохраняется код – информация в коде меняется. Она декодируется уже иначе. Смысл сужается. Незапертый порох сгорает свободно, не может произвести удар выстрела. На пляже все голые – ты сними юбку, обнажи жопу в филармонии. Условность табу – важнейший элемент условности языка вообще. А язык-то весь – вторая сигнальная, условная, система. С уничтожением фигуры умолчания в языке становится на одну фигуру меньше – а больше всего на несколько слов, которые стремительно сравниваются по сфере применения и выразительностью с прочими. Нет запрета – нет запретных слов – нет кошунства, стресса, оскорбления, эпатажа, экспрессии, кайфа и прочее – а есть очередной этап развития лингвистической энтропии, понижения энергетической напряженности, эмоциональной заряженности, падения разности

потенциалов языка. Обогащаясь формально, язык обедняется по существу. Дважды два. Я так думаю, сказал Винни-Пух.

Ладно: писатели неучи, филологи идиоты, – обратились бы к Лотману за разъяснениями; сдались они ему все, у него жена болеет...; Зара была еще жива, и Лотман был жив.

Ага; вот поэтому в самых половых сценах писаний Лимонова или его жены Медведевой эротического чувства, со-возбуждения для читателя не больше, чем для старого гинеколога – в сотой за прием раскоряченной на кресле старухе. Ну, есть такое место, такие движения, и что. Обыденность слова сопрягается с обыденностью фразы и сцены. Возникает импотенция текста. Что связано с импотенцией, кстати, телесной, это вполне испытали на себе просвещенные раскрепощенные французы. Чего волноваться – обычное дело кушать, выпивать, зарабатывать деньги и совмещать свои половые органы. А волнение – это избыток чувства, энергии, а если ничем никогда не сдерживать – не будет избытка, а отсутствие избытка – слабосилие, упадок, конец. Вам привет от разврата упавшего Рима. Закат Европы. Смотри порники: там же никогда ни у кого толком не стоит. Работа такая.

Сим макарон к концу второй бутылки обнаружив, что литературная тема беседы естественно и плавно перетекла в сексуальную, мы ностальгически посмаковали приключения ленинградской молодости, помянув и лихой заезд с портфелем «Рымниковского» к двум красивым подругам, оказавшимся ночью злостными лесбиянками, чему предшествовала та встреча в редакции.

– Читаю я твою рецензию: ни хрена себе, думаю, сидит Мишка тут и решает, кого печатать, а кому отказать, а ему еще деньги за эти отказы платят! И только собираюсь предложить – напечатай, мол, а гонорар вместе пропьем, как он и говорит: будь моя воля, я бы это, конечно, из интереса напечатал. Эге, думаю, парень, да тебе печататься легче чем ему ровно на одну инстанцию – на себя самого. Так что теперь – настала твоя воля?

– Воля моя, воля... Наливай да пей.

– Сейчас тут Довлатова всего издали. Вижу – «Зона»: вспомнил, дай, думаю, куплю – о чем хоть речь-то шла. Ты его знал? – спросил Саул.

– О, провались он пропадом, – сказал я. – И в Париже, в Венсеннском лесу, под луной, нет мне покоя!

Много лет Довлатов был кошмаром моей жизни.

Кто ж из нынешней литературной братии не знал Сережи Довлатова? Разве что я. Так я вообще мало кого знаю, и век бы не знал. Он со мной общался, как умный еврей с глупым: по телефону из Нью-Йорка. То есть просто все мои знакомые были более или менее лучшими его друзьями: все мужчины с ним пили, а все женщины через одну с ним спали, или как минимум имели духовную связь. Большое это дело – вовремя уехать в Америку.

Он сыграл в делах моих, этом дурном сне, большую роль. Ее нельзя назвать слишком позитивной. Это была роль шагов Командора за сценой. Хотя сам он о том не мог предполагать. Когда я узнал о нем, он уже никак не мог знать обо мне: он уже свалил. Чем еще раз подчеркивалось его умственное превосходство.

В ту эпоху звездноносный генсек Брежнев придал новое и совершенно реальное значение метафоре «ни жив ни мертв». Реанимация напоминала консилиум над телом Буратино. С неживой невнятной речью и неживыми ошибочными движениями он выглядел кадавром столь законченным, что из года в год представлялся все более бессмертным. То есть разум понимал, что ему полагается умереть, но эта в любой момент возможная и ожидаемая, но никогда не наступающая смерть в конце концов стала столь же неопределенно-отдаленной абстракцией, как тепловая смерть вселенной. Его состояние на грани иного мира стало константой общественного бытия.

В этом общественном бытии моим рассказам места не было. На чем настаивали все известные мне журналы и издательства. Мое сознание не хотело определяться бытием. Сделай или сдохни.

Эстония в Ленинграде славилась изобилием и либерализмом. Бытие и сознание здесь были подточены поздним приходом советской власти и приемом финского телевидения. Ветерок дотягивал в щель форточки забитого окна, которое Петр прорубил в Европу. Светил какой-то шанс.

В издательстве «Ээсти Раамат» рукопись одобрили в принципе.

– Но есть одно условие. Мы издаем книги только местных авторов, живущих здесь постоянно.

Ясно. Естественно. А то поднапрет разных, захлестнет вал. Да я буду жить в Кушке, в Уэллене, в Дудинке, только оставьте шанс. Не уверенность, не гарантию: хоть запах реального шанса.

– Таллинн режимный город, – сказали в паспортном столе. – Для прописки нужно ходатайство с места работы, оно будет рассматриваться. А на какую площадь вы хотите прописаться?

В республиканской газете «Молодежь Эстонии» посмотрели мои старые вырезки из многотиражек:

– Мы вас возьмем. Есть штатная вакансия. Но, конечно, нужна прописка. Вы уже переехали в Таллинн?

И я проволочка сквозь все круги обыденного бюрократического ада, коридоры, очереди, заявления, выписки, справки, резолюции, подписи, печати, милиции, паспорта, жилконторы, очереди, записи, очереди, и переехал в Таллинн.

И первое, что меня спросили в Доме Печати:

– А Сережку Довлатова ты знал?

– Нет, – пожимал я плечами, слегка задетый вопросами о знакомстве с какой-то пузатой мелочью, о ком я даже не слышал. – А кто это?

– Он тоже из Ленинграда, – разъяснили мне. Я вспомнил численность ленинградского населения; три Эстонии с довеском.

– Он тоже писатель. В газете работал.

– Где он печатался-то?

– Да говорят же: вроде тебя.

Это задевало. Это отдавало напоминанием о малых успехах в карьере. Я не люблю тех, кто вроде меня. Конкурент существует для того, чтобы его утопить. Я не интересовался салонами, компаниями и «внутрилитературным движением рукописей»; слово андеграунд еще не употреблялось, как и слово тусовка.

– Серенька был, можно сказать, первое перо Дома Печати.

Мое перо, трудолюбивый и упрямый ишак, не хотело писать для Дома Печати. Мне было тридцать, и пять лет я не делал для заработка ни строчки. Халтура – смерть. Но для книги требовалась прописка, а для прописки авторитетная работа. В детстве доктора говорили, что у меня повышенный рвотный рефлекс.

Над первым материалом, заметкой о знатной учительнице, я потел и скрежетал неделю. Я добивался глубин мысли, блеска стиля и изысканной лаконичности – при сохранении честности. Я был ишак.

В результате истачал маленький газетный шедевр. Главный редактор, человек добрый настолько, что редакция жрала его поедом, не даваясь отсутствующим хребтом, Вольдемар Томбу, тактично подчеркнул несколько строк:

– Вот вы пишете: ибо во mnogой мудрости много печали... Разве на самом деле это так? Вы правда так думаете?..

– Э... – замялся я. – Но ведь это, в общем... фраза известная, расхожая, так сказать... из классики.

Томбу помолчал. Спросить откуда не позволяло его положение. Про Экклезиаста я, по понятным причинам, акцентировать не стал. Склонность к цитированию Священного писания не могла быть поощрена органом ЦК комсомола, хотя бы и Эстонии.

– Ну, – мягко улыбнулся Томбу, – мы ведь с вами понимаем, что в общем это же не так?... Давайте лучше напишем: «Ибо во многой мудрости много пищи для размышлений». Согласны? Вот, – добрым голосом заключил он.

Драли с тех пор меня многочисленные редакторы, как с сидоровой козы семь шкур, но и поныне пикантнейшим из воспоминаний остается первое сотрудничество с эстонской прессой: как редактор «Молодежки» отредактировал царя Соломона.

Да. Оптимизм – наш долг, сказал государственный канцлер.

Через месяц, поставив руку, я строчил, как швея-мотористка. В работе газетной и серьезной плуг ставится на разную глубину. Наука это нехитрая: как оперному певцу научиться снимать голос с диафрагмы, чтоб тихонько подвывать шлягер в микрофон. По мере практики голос, без микрофона, начинает «срываться с опоры», «качаться» – и оперному певцу хана. Писание на Бога и на газету – при формальном родстве профессии принципиально разные, смешивание их дает питательную среду для графомании и алкоголизма.

Однако в штат меня ставить не торопились. Говорили комплименты, с ходу печатали все материалы, исправно выдавали гонорар, а вот насчет штата Томбу уклончиво успокаивал, просил обождать недельку. Шли месяцы.

Много лет спустя я узнал, что добрый и честный Томбу раз в неделю ходил в ЦК и устраивал тихий эстонский скандал.

– Человек специально приехал из Ленинграда, – разъяснял он. – Журналист высокой квалификации. Была предварительная договоренность. Я сам его пригласил на место. Обещал. Место пустует. Брать некого.

– Что значит некого. Почему же вы не готовите кадры.

– У нас не журфак и не курсы повышения квалификации. У нас республиканская газета. Вас волнует уровень вашей газеты?

– Нас волнует истинное лицо сотрудников нашей газеты. Просто так из Ленинграда не уезжают, знаете. Чего он уехал?

– Полмиллиона русских приехали сюда из России, – кротно отвечал Томбу. – Вы хотите поднять вопрос, почему они уехали из России?

– Он нерусский, – сдержанно напоминали в ЦК. – У нас в русских газетах и так работает половина евреев.

– Так что мне теперь, в газовую камеру его отправить? – не выдерживал Томбу.

– Не надо шутить. А если он возьмет и уедет в Израиль?

– Если бы он хотел поехать в Израиль, то почему он поехал в Эстонию? Перепутал билетную кассу?

– Вы можете ручаться, что он не уедет?

– Да, – говорил Томбу. – Я ручаюсь.

– Толку с вашего ручательства. А историю с Довлатовым вы помните? – приводили решающий аргумент в ЦК. – Тоже ручались: прекрасный журналист, все в порядке, надо взять, – а чем это кончилось?... Нам второй раз такой истории не надо.

– При чем здесь Довлатов? – не соглашался Томбу.

– Как при чем? Тоже: писатель, талантливый, из Ленинграда... а потом – скандал, КГБ, рукописи, и эмигрировал в Америку!

– Он его вообще не знал! – отмежеввал меня Томбу от бывшего замаскированного врага.

– Одного поля ягоды, – реагировали в ЦК. – Точно тот же вариант. А не знать его он не мог – вы посмотрите, ведь все совпадает, как у близнецов. А он продолжает настаивать, что не знает. Значит, скрывает. Значит, есть что скрывать. Вы понимаете?

Эта майская песня кончилась в сентябре: меня взяли временно на место, как водится, ушедшей в декрет машинистки. Она уже родила, и теперь по утрам тошнило меня. Бессмысленность работы убивала. Какая «вторая древнейшая»! по сравнению с советским газетчиком проститутка вольна, как Ариэль, и богата, как министр Госкомимущества. Я понял, что такое фашизм: это когда добровольно и за маленькую зарплату пишешь обратное тому, что хочешь. В пыточные камеры мне был определен отдел пропаганды. Над столом я прилепил репродукцию картины Репина «Арест пропагандиста». Глядя на живопись, я поступал в жандармы, крутил руки за спину заведомо пропаганды Марику Левину и, тыча ножнами шашки под ребра, гнал его в сибирскую каторгу. Я стал нервным.

– А вот Серега Довлатов, он запивал иногда, что ты, – поведывали коллеги. – Потом однажды похмелялся, садился с утра, и т-такое выдавал – пачками! Для газеты одно, для себя другое.

Мое для себя другое тем временем тащилось сквозь издательские шестерни. Мельница Господа Бога мелет медленно, успокаивал редактор. История повторялась, как кинодубль с другим составом статистов. Закулисная механика от меня скрывалась.

Умный главный редактор издательства ознакомился с рукописью сам и пошел в ЦК. Пуганая ворона хочет выжечь кусты из огнемета. Или старается договориться с ними лично.

– А почему он уехал из Ленинграда? – спросили его.

– А почему не спросить об этом четверть миллиона русских, которые приехали в Таллинн из России? – спросил Аксель Тамм.

– Это хорошая книга?

– Я бы пришел из-за плохой книги?

– Так почему ее не издали в Ленинграде?

– Я не заведую Лениздатом. Я работаю в «Ээсти Раамат». Кто-то мной недоволен?

– У него были там неприятности? Трения, инциденты?

– Что вы имеете в виду?

– Перестаньте. Вы понимаете, что мы имеем в виду.

– Ничего не было.

– Откуда вы знаете? Вы проверяли?

– Нет. Если бы что-то было, я бы знал.

– Это еще надо проверить.

– Проверяйте.

– А почему он приехал именно к нам? Он эстонец?

– Нет, он не эстонец.

– А кто?

– Еврей.

– Так почему он не поехал издаваться куда-нибудь в свою Россию, в Сибирь, в Томск, в Омск?

– Он еврей. Кто его там будет издавать?

– Так почему он не поехал издаваться в свой Израиль? А если он уедет в Израиль?

– Зачем ему ехать в Эстонию, если бы он хотел уехать в Израиль?

– Как знать. Точно так же вы тут несколько лет назад выступали насчет Довлатова. Кого защищали? Алкоголик, диссидент, антисоветчик, арест, посадили: теперь в Америке. Хватит с нас одного.

– Он не имеет никакого отношения к Довлатову.

– Что значит не имеет. Точно то же самое. Не следует ошибаться еще раз.

Машинистка вернулась из декрета. С облегчением и ненавистью я навсегда распрощался с газетной работой. И тут издательство вернуло мне рукопись, сопроводив похеривающей рецензией. Я впал в непривычную растерянность. Совсем не то обещал мне ярл, когда приглашал в викинг.

Я лишился ленинградской прописки. Поменял комнату в суперцентре, Желябова угол Невского, на хибару таллиннской окраины. Дама ваша убита, ласково сказал Чекалинский. Корнет Оболенский, дайте один патрон. Мне было решительно обещано место в республиканской газете. Редактор уверял, что книга прекрасная и проблем с выходом не будет. В итоге я получил полную возможность поведывать за злым зельем свои печали эстонской кильке прямого посла, закусывая ею из разбитого корыта.

Проклятый мифический Довлатов заварил мне ход. Он выработал Таллинн и свалил. Я шел по его следам, и вся малина на тропе была обгажена. На тропе был насторожен капкан, и я вделся. Я бы его повесил.

– Ну разве не стоит ему за это когда-нибудь въехать? – жаловался я в ответ на очередные легенды о Довлатове. Теперь я помнил хорошо, кого читал и рецензировал в «Неве».

(Ах не фраер Боженька: всю правду видит, да не скоро скажет. Ко мне вернулся мой камушек, из пращи да булдыган в лоб. Много, много лет спустя посетила меня эта суеверная мысль. А вот не шейте вы ливреи, евреи.)

– В нем было два метра росту, – снисходительно говорили мне наши общие приятели.

– Если б во мне было два метра, я бы вообще всех убивал, – злобно цедил я. В боксе есть присказка: длинного бить приятнее – он дольше падает.

Моя биография вдруг стала укладываться в его колею, как складная головоломка, которую мне было не решить.

Куда податься. Для тебя, Веллер, Монголия заграница, сказали когда-то на филфаке, не понимая, за каким хреном и благами я-то влез в комсомольскую работу. Велика Россия, а отступать нам приходится на запад. Некуда мне было ехать. Приехал.

Во-первых, подача заявления на выезд уже автоматически означала, что отец мой вышибается без пенсии из армии, а брат – с волчьим билетом из института. Во-вторых, эмиграция была уже как раз только прикрыта, все, олимпиада прошла, выезд кончился.

А главное – я не мог уехать побежденным. Вот не мог – и хоть ты тресни. Они меня достали. Обложили со всех сторон. Прижали к стенке. И я должен был сделать свое. Не можешь – делай через не могу. Или сдохни. Смысл жизни был прост, как гвоздь в мозгу. Я должен был издать эту книгу здесь, в Союзе. А потом можно валить куда угодно к чертовой матери. Потом точно свалю. Женюсь, сбегу. Но не потому, что они меня победили и заставили. А потому что я сам так решил. Иначе я дерьмо, и так мне и надо. Я не буду неудачником.

Воспитание в далеких гарнизонах и мордобой в хулиганской юности способствуют целеустойчивости.

Оставалось одно. Сидеть на месте и тихой сапой рыть траншею вперед и вверх. А там – хоть это не наши горы, но тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи вверх, до самой вершины. Хэйко банзай!

Но раздражение мое нетрудно себе представить. Мало мне своих бед – так еще тень довлатовских подвигов простерлась на меня.

Летом я отправился на Таймыр и завербовался на промысловую охоту. Работа жестокая и грязная, усталость и недосып, гнус жрет, и все переживания мельчали и утрясались: а нет причин для тоски на свете, слушай, детка не егози.

Вот когда в пустыне меня, ловца-салагу, гюрза ударила – о, это было переживание. Ни водки, ни сыворотки, и дневной переход до лагеря. Укус был под локоть, а его накося выкуси, сам себе не отсосешь. Выдавливай надрез да чиркай в него спички.

Я просыпался до срока от наработанной зимней бессонницы, крутил приемник у костерка, вылавливая музыку далеких цивилизаций, ребята постанывали во сне, дергая изрезанными руками, и я в привычный за которое уже лето раз ощущал себя на самом краю земли, и из этого далека все эти несмертельные мои проблемы казались простыми и ясными: есть шанс? паши и не дергайся.

Зарботка должно было хватить на прокорм до следующего лета. Вернувшись, я переложил печку в камин, колол дрова, гулял по взморью, писал рассказы; готовил сборник. Сдав его в издательство, спокойно ждал, что и его выпнут, я составлю следующий и принесу его, и в конце концов протаранится, в жизни нужна тактика бега на длинную дистанцию, не рви со старта, не суетись, и удача благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет.

Пытка неизвестностью придумана давно и действует исправно. Тихо-тихо тянула из меня все жилы издательская машина. Я мог лишь ждать и не сорваться – никто, ничто и звать никак. Пассивный залог в русском языке называется страдательным.

На выход книги я поставил все. Больше у меня в жизни ничего не было. Я покинул свой город, семью, любимую женщину, друзей, отказался от всех видов карьеры, работы, жил в нищете, экономил чай и окурки, ничем кроме писания не занимался.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже.

Год шел за годом. Ночами я детально обдумывал поджог дома рецензента, убийство редактора, самосожжение в издательстве. Я бы спился, но пить было не на что. А зарабатывать деньги на пропой, тратя необходимые на писание время и силы, было идиотством.

Позднее вскрылись и донос в КГБ – на что живет? тайные деньги с Запада! – с последующей годичной проверкой, и письмо в Госкомиздат СССР – вредная, чуждая рукопись! – и внутренние счета и интриги: штатные доброжелатели из литературно-осведомительских структур бдели.

Пронеслось четыре года... Это ново? так же ново, как фамилия Попова, как холера и проказа, как чума и плач детей.

И когда вышла «Хочу быть дворником», клиент был готов. Я лежал. Разделить радость мне было не с кем, да и не было никакой радости. Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула. Вставал я для того, чтобы поесть, выпить и дойти до туалета. Бриться, мыться, чистить зубы – энергии уже не было. Когда кончались еда и водка, раз в несколько дней брал пару червонцев из гонорарной пачки и плелся через дорогу в магазин, дрожа от слабости, оплывший и заросший. Я мечтал, чтобы вдруг приехал кто-нибудь бодрый и сильный, поднял меня за уши, выполоскал в горячей ванне с мылом, выбрил, передел в чистое и отнес лежать на берег теплого моря. Там через месяц я бы оклемался. Но уши мои так и остались невостребованными.

Кончилась зима, прошла весна, и в нежном трепете июньской листвы я ощутил прилив активной злобы к жизни и презрения к себе. Чувства эти были вызваны голодом. Голод объяснялся невозможностью выйти за жратвой. На мне не сходились штаны. Это были мои единственные штаны. Я попал в западню, как Винни-Пух в норе Кролика.

Я належал килограммов двадцать. Зеркало пугнуло распухшим бомжем. Портрет на фоне Пушкина, и птичка вылетает. Фоном служила ободранная ханыжная хавера, набитая окурками, стеклотарой и грязным тряпьем. Ситуация достигла исчерпывающего предела.

Винни-Пух торчал в норе, пока не похудел до диаметра выхода. Мне повезло больше.

Меня посетила знакомая. Знакомая – это неполная характеристика; неточная. Это был танк, который гуляет сам по себе. По приезде в Таллинн я был взят ею на абордаж с той жесткой стремительностью, которую требовал от своей команды кэптэн Джон Морган.

Чудо, праздник, тайфун. Она распечатала окно, за час привела в чистоту и порядок мою скверную обитель и мерзкую плоть, плюхнула коньяку в сияющие стаканы, перелистнула еще пахнущую краской книжку из штабеля у стены, объявила меня свершившимся гением, расши-

рив влюбленные глаза, и в качестве высшего признания произнесла голосом, в котором пело эхо горних высот:

– Знаешь, я вдруг подумала, что тебе сейчас столько же лет, сколько было Сереже Довлатову, когда он приехал сюда.

Выздоровление произошло сразу. Взрыватель щелкнул. Я взвился, как пружинная змея из банки.

– Почему Довлатов?! – вопил я, швыряя стаканы в унисон внутреннему голосу, который норовил заглушить меня грохочущим водопадом матюгов. – При чем здесь Довлатов!! Что знал ваш Довлатов?! Он родился на семь лет раньше, мог пройти еще в шестидесятые, было можно и легко – что он делал? груши и баклуши бил? А мне того просвета не было! Он Довлатов, а я Веллер, он не проходил пятым пунктом как еврей, ему не был уже этим закрыт ход в ленинградские газеты, и никто ему в редакциях не говорил: знаете, в этом номере у нас уже есть Айсберг, Вайсберг и Эйнштейн, так что, сами понимаете, не можем, подождем более удобного случая; ему не давали добрых советов отказаться от фамилии под «приличным» псевдонимом! Мать у него из театральных кругов, тетка старый редактор Совписа, литературные связи и знакомства со всеми на свете, у классика Веры Пановой он литсекретарствовал, друзья сидят в журналах! а у меня всех связей – узлы на шнурках! И всюду я заходил чужаком с парадного входа, откуда и выходил, и нигде слова замолвить было некому. Он пил как лошадь и нарывался на истории – я тихо сидел дома и занимался своим. Он портил перо херней в газетах, а я писал только свое. Он всю жизнь заботился о зарплате и получал ее – я жил на летние заработки, на пятьдесят копеек в день. Он хотел быть писателем – а я хотел питать лучшую короткую прозу на русском языке. Что и делал! торжествуя завопил внутренний голос. И он приехал сюда на чистое место – сохранив питерскую прописку и жилье, взятый в штат республиканской газеты, сразу приняли две книги в издательстве, – а я отчалил с концами, влип в его след, годами доказывал, что я не верблюд, – и он провалил все, а я в конце концов издал эту книгу! Которая в принципе – теперь уже можно не бояться сглазить! – выйти не могла! Читай: «Свободу не подарят!» «А вот те шиш!» Не могла! И вышла!

Павлина ранили стрелой. Дополнительным оскорблением воспринимался тот тонкий штрих, что Довлатову она досталась на пять лет моложе: и здесь я был как бы опережен и унижен. Жизнь – борьба, а не магазин уцененных товаров! Мне подсунили биографию б/у.

То есть наши заочные отношения с Довлатовым превратились уже в некий поединок судеб и заслуг; и к моему совершенному бешенству публики из таллиннской русской творческой интеллигенции (такой русской, хучь в рабины отдавай: Скульская, Аграновская, Штейн, Тух, Рогинский, Малкиэль, Ольман и еще пара-тройка столь же отпетых славян; правы, правы были в ЦК – ишь свилось тут сионистское гнездо из недодавленных в Киевах и Ташкентах) – публика отдавала предпочтение в этом поединке ему. А вот он был им ближе: родственнее; понятнее. А вот он более импонировал, стало быть, их представлениям о настоящем писателе и литературе. Он пил, загуливал, язвил окружающим и был своим. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Я не пил, был вежлив, замкнут, а окружающих мало замечал. И никому не давал читать своих рукописей. Их мнение меня не интересовало: без надобности. Меня интересовало мнение истории. И то лишь в той мере, в какой оно совпадет с моим собственным.

По мере лет, как принято, добрея и глупея, я поддался успокоениям внутреннего голоса, что победил все-таки я, просто читатель у нас, возможно, разный. И еще одно: он был в ореоле запрета. В венце побежденного Роком и Режимом. В нимбе гонимого. За победителя боги, побежденный любезен Катону. Я бы этому Катону прищемил дверью. И еще одно. Его тут не было. Была легенда о нем. А кто ж живой может соревноваться с легендой. И еще одно. Ах, ты много о себе мнишь? Так не мни много: вот Довлатов, он-то, понимаешь...

– Сергуня Довлатов, он-то, понимаешь, никаким диссидентом, никаким антисоветчиком не был, – объяснял наш опять же общий приятель Ося Малкиэль, еще не съехавший на

социал в Германию, еще макетчик и замответсекра «Молодежки», еще терроризировавший коллег любовной готовностью при малейшем несогласии провести хук правой в печень и прямой левой в челюсть. Ося знал все и затыкал всех, этих всех этому всему уча. Он не принадлежал к породе слушателей, зачисляя в нее всех видимых в зоне досягаемости, по причине несогласия с чем на дружеской пьянке довлатовская гражданская жена по Таллинну и мать довлатовской дочери Тамара Зибунова на правах хозяйки и именинницы после тысяча первого предупреждения треснула таки Осю бутылкой по голове, ибо во всех прочих способах прикрутить фонтан его красноречия уже отчаялись. Я был не в курсе. Ося пришел ко мне поболтать за чаем, небрежно пояснив повязку ранением в афганской поездке. Он был романтик.

– Вот у тебя, Мишка, выходят книжки, тебя приняли в Союз писателей, где-то там печатают, переводят... то есть ты добился статуса нормального советского писателя.

– Какой у нас статус, змеиное молоко, мы сами-то еле живы. И где мне этим статусом статусировать...

– Не скажи. Это все-таки. Официальная печать. Издаваться легче. То-се. Вот Сергуня хотел того же самого: просто писать, печататься, жить на литературные заработки, быть писателем. Но тебе, понимаешь, повезло, а ему вот нет.

– Мне – повезло? – взрыднул я. – Это кто ж такое оно, которое меня везло?

– Какая разница... И вот теперь он в Штатах, все его книги опубликованы, издает газету «Новый американец», известный американский русский писатель. Но там это... В общем, пишет, никому он там не нужен. Жалко его.

Я сидел не в Штатах, а в Эстонии, и тоже был никому на хрен не нужен, как, впрочем, и сейчас. Зеленовато-желтый и непривычно-миролюбивый, тихий Ося осторожно потрогал повязку. Бывают моменты, когда достает слеза: что бы ни делал человек в России, а все равно его жалко. И мои родственные отношения с Довлатовым приобрели вдруг сочувственный характер. Никому мы не нужны по обе стороны океана, и нет для нас другого глобуса.

Хотя Штаты были как раз другой планетой. Туда брали билет в один конец, прощались навсегда, и улетали, чтоб уже никогда не возвратиться на родную землю, как космонавты на Андромеду.

Это антиподство сыграло с нашими эмигрантами известную шутку. Кухонный вольнодумец – призвание экстерриториальное. Штаты были анти-СССР. Все, что здесь глупо и плохо, там было разумно и хорошо. Уезжантов допекло до невроза: здесь было плохо все – следовательно, там все было более-менее хорошо. Приписывая большевикам эксклюзивное право на все гадства мира, диссиденты тем самым возвеличивали их до бесконечной степени негативной гениальности. Обнаружив имманентность глупости и порока на другой планете, диссиденты впадали в свое естественное состояние – депрессию на кухне. Поистине, стоило влезать в торговлю камнями, ходить с вальтером-ПП подмышкой, трястись с контрабандными изумрудами через таможи, лететь в Штаты, чтобы в Денвере у газетного киоска напороться на одноклассника Юру Дымова, рассматривающего мою рожу над рассказом в журнале «Алеф», приходить в себя за бутылкой от сюрреализма ситуации, и ночью на его кухне выслушивать эти открытия.

– Вольному воля, – заключил Юра, разведя руками и кренясь с табуретки, как перегруженный альбатрос.

Воля моя пресловутая и мое открытие Америки настали гораздо раньше: когда я, в эйфории наглой безнаказанности, заказал с редакционного телефона Нью-Йорк, и через пятнадцать минут меня спокойно соединили с другой планетой: намертво невыездной, еврей беспартийный разведенный образование высшее безработный всю жизнь, я испытал нереальное, неземное чувство, уже забытое бывш. сов. людьми: чувство первого шага за границей... О... Хрен ли ваши цветущие яблони на Марсе. Кэптэн Блад очень любил как это? яблонь в цвету. Это очень романтишно... ха-ха!

– Слушаю, – ответил мрачный и сиповатый русский голос без всяких признаков американской гнусавости и картофельного пюре во рту.

– Сергей Донатович? – осведомился я.

– Совершенно верно.

– Эстония беспокоит. Таллинн.

– Хо-о! – сказал Довлатов.

– Такой русский журнал «Радуга».

– М-угу.

– Мы тут хотим напечатать ваши рассказы. В общем просто обязаны. Как-никак Таллинну вы человек не вовсе чужой.

– Уж как же!..

– Так если вы не против...

Ответ был в том духе, что не против. Кто б мог подумать.

– Чувствую, что у вас перестройка.

Я назвал. Он ответил, что слышал и читал. Это было приятно. Хотя неясно, чего он мог слышать и откуда читать. Я подрост в своих глазах. Все-таки он жил в Америке.

– Откуда у вас мой телефон? Хотя – у нас наверняка должны быть в Таллинне общие знакомые.

В Таллинне все знакомые – общие. На протяжении ста рублей (восемьдесят седьмого года) я рассказывал, как они (список см. выше) живут. Злорадно глядя на часы. Фирма заплатит. Наш главный с международного телефона не слезал, бешеные тыщи без звука списывались издательством как издержки международной поддержки Народному фронту в борьбе за независимость.

– Да, но возникает вопрос, как я перешлю вам тексты. У вас есть мои книги?

– Сергей Донатович...

– Просто Сергей.

Ну слава те Господи. Я с самим маршалом Фрагга разговаривал, не тебе чета, и тот с третьего раза велел: без званий и на ты, курсант. Я имел дело с интеллигентным человеком. Вопрос обращения по отчеству заслуживает отдельного социопсихолингвистического изучения. Русско-советское хамство начиналось с комсомольского свойского «ты» и сквозь все слои и структуры общества восходило к публичному «тыканью» Генсека членам Политбюро. Но снизу вверх полагалось на «вы» и по отчеству. Это было самоутверждение холопов во князьях. У лакея свое представление о величии. В офицерском корпусе разграничивалось просто: на звездочку старше – «вы», на звездочку младше – «ты». В российском, даже купринском «Поединка» захолустном армейском полку – представьте «тыканье» штабс-капитана поручику. Среди «интеллигенции» задействовало различие в должности и возрасте. К редактору, скажем, книги или публикации автор даже постарше и помаститее его обращался взаимно по отчеству. Автор моложе и немаститый отчества в ответ не получал. А уж в неформальном общении десять лет разницы казались старшему полным основанием обращаться к младшему по имени, слыша в ответ свое имя-отчество. Это вошло в естество, иное представлялось даже и странным, как бы искусственным, наигранным: обращаться по отчеству к младшему, пусть даже немного младшему, пусть даже под пятьдесят, если только он не был значительной, влиятельной фигурой. Это способствовало самоуважению старших. И не могло зачастую не унижать младших. Поразительно, что в «интеллигентах»-шестидесятниках почти поголовно отсутствует само ощущение того, что неравенством обращения он унижает собеседника, тем самым унижая некоторым плебейством манер себя. Хомо советикус.

– Ваши рукописи есть у Тамары Зибуновой. Если такую помните, – добавил я, тут же ощутив глупость своего комментария: не то укор мужскому равнодушию, не то комплимент донжуанству старого рубаки.

В трубке помолчали в веселой тональности.

– Как же, – согласился он. – Ну, тогда хорошо.

– Мы можем отобрать по своему усмотрению, или у вас есть пожелания?

– Пожалуйста – можете выбрать сами.

– Встает вопрос об оплате. С долларами здесь напряженка.

– Кажется, я еще помню.

– Но гонорар в рублях – гроши, конечно, полтора за лист, – это дело святое.

– А вы это можете заплатить Тамаре?

– Без проблем.

– Нужно какое-то письмо от меня, доверенность?

– Ничего. Так сделаем. Никаких сложностей.

– Прекрасно.

– Когда мы отберем – я вам позвоню. Через недельку.

– Буду очень рад. И вообще звоните. Да... немало воспоминаний с Таллинном связано.

Мы распаркались с нежными нотами в голосе.

Здесь полагается расписать, что идея печатать Довлатова принадлежала всецело мне одному: восстановление справедливости, отдать долг прошлому, братское сочувствие, возвращение большого писателя; тому подобное. У успеха много отцов. Нет: идея была не моя, ее родили редакционные дамы, а я так, сбоку сидел. Гордо заведовал отделом русской литературы, состоящим из меня одного. В этом есть свои преимущества: когда хоть где-то русская литература состоит из тебя одного. Хотя, если знакомые, большого ума благородные доны, желая отрекомендовать меня лестным образом, представляли как «лучшего русского писателя Эстонии», мне оставалось только раздраженно пояснять, что, конечно, в любой луже есть гад, между иными гадами иройский.

Вообще журналчик «Радуга» мог издавать один человек, по первым понедельникам месяца, перед обедом, под холодную закуску. Но редакционные дамы, как свойственно всем дамам, ставшим редакционными, пили кофе и строили интриги в убеждении, что коллектив работает напряженно, а штат явно неполон. Занять каждого своим делом, чтоб ему было некогда соваться в чужие, удалось только Фигаро, и то ненадолго.

Жизнь «Радуги» – отдельный роман. Впрочем, все есть роман – при наличии у автора ассоциативного мышления. Условием чего служит вообще наличие у автора мышления. Достопамятные дискуссии о смерти романа ошарашивали безмозглостью. Если роман – зеркало, с которым идешь по большой дороге, – то ли дороги укоротились, то ли ножки у дискуссантов ослабли, то ли слабая ленинская теория зеркального отражения трещину дала.

То мог быть роман о ячейке Народного фронта, который привел Эстонию к независимости, а своих зачинщиков, творческую интеллигенцию, к помойке. Что роман – эпическая трилогия! И жизнь каждого сотрудника – тоже роман, философский, энциклопедический, сентиментальный и местами матерный. Психологический триллер о том, как схарчили замглавного редактора. Сага о художнике, заболевшем аллергией на все виды красок, лечившемся год, не вняв знаку Господню, и упрямо продолжившем свою богопротивную деятельность. Или как собрали десяток идиотов, страдающих профессиональной непригодностью во всех областях занятий, и поэтому часто их меняющих, что должно было компенсироваться недержанием речи и синдромом реформаторства на фоне вялотекущей шизофрении, и объединили их в демократический дискуссионный клуб прогрессивной русской интеллигенции. Клуб дискутировал по четвергам, и головная боль у меня проходила к вечеру субботы.

Но по легенде, которая всегда совершеннее действительности, Довлатов уже написал подобный роман. О том, как он работал в ленинградском «Костре». По этой легенде роман назывался «Мой „Костер“». Раз в неделю, в ночь на субботу, его поглавно читали по «Свободе». Главы назывались: «Корректор»; «Завпоэзией»; «Ответственный секретарь». Произве-

дение было лаконичным и сильным. Довлатов отличался наблюдательностью и юмористическим складом ума, поэтому каждый понедельник прославленного в свой черед сотрудника редакции вызывали на Литейный и после непродолжительной беседы увольняли с треском. Редакция бросила работать. Всю неделю с дрожью ждали очередной передачи, а в субботу, нервно куря и закусывая водку валидолом, крутили приемники, чтобы узнать, кто из них приговорен к казни на этот понедельник. Русская рулетка. Ряды редели. Смертельный удар был нанесен главой «Жратва». Редакция помещалась недалеко от Смольного, и в качестве органа Обкома комсомола обедала в смольнинской столовой. Не в том зале, конечно, где боссы, и не в том, где инструкторы, и не в том, где машинистки, а вместе с шоферами и наружной охраной, но все равно – кормушка святая святых, экологически чистые деликатесы по дешевке, закрыто для простого народа. Довлатов описал столовую.

В следующий понедельник редакцию навсегда открепили от столовой Смольного. Ненависть к Довлатову, запивающему сейчас бигмаки кока-колой, достигла смертельной степени и приобрела священный классовый характер. Можно простить увольнение отца, но не потерю спецраспределителя.

Однако по прошествии лет, утечении вод и перемене масок и декораций явствует из довлатовской деятельности в «Костре» совсем другая история, закулисная, непреложно реальная и неизбежно умолчанная. Достаточно перечитать главу «Костер» из книги «Ремесло». Пригласил его Воскобойников. Позднее выяснилось, что мягкохарактерный Воскобойников работал на ГБ. Довлатов прав в догадках: в журнал обкома комсомола никаким образом не могли взять человека с нечистой анкетой, беспартийного, без круто волосатой лапы, обратившего на себя внимание конторы в связи с политическим процессом, автора сочтенных неблагонадежными рукописей, уволенного по указанию ГБ из газеты, книгу приказали рассыпать, сам под колпаком. Лишь тот, кто ничего не знает о структуре и системе информации и надзора за печатью и функциях отдела кадров, может думать иначе; для прочих совграждан это однозначно, как штемпель в паспорте. Замазанного человека возьмут только с каким-то умыслом. Теоретически первое – сотрудничество, на которое дается номинальное согласие. Зачем осторожнейшему лояльнейшему Воскобойникову такой подчиненный? После скандала в Таллинне? А вот пред патроном надо изображать деятельность: привлечение новых лиц, расширение сферы работы. Патрон требует; от патрона только такая инициатива и могла исходить. Второе, что вероятнее: Довлатов мог быть полезен как источник информации и связей в среде ленинградской «диссидентствующей» творческой интеллигенции. Нехай будет под присмотром, поближе к глазу Большого Брата. Об этом его и извещать не надо. В любом случае объективно оказался совершен неплохой и даже добрый поступок, в чем вполне можно с Довлатовым согласиться.

С ним вообще трудно не соглашаться, таков был характер его дарования. Он не написал, в некотором смысле, ничего спорного. Все просто и внятно. А если ты с чем-то все-таки не соглашался, легко соглашался он. По жизни он был миролюбивый человек. Я тоже.

И когда я стал редактировать его рассказы, несогласие вызвали только два места... Тут паленая-драная память срывается с веревки: редактирование – это поэма особая, о тридцати трех песнях, девяносто девяти сценах. Моя любимая сцена в советском редактировании – это когда классик советской литературы и знатный алкоголик-миллионер – нет, не Шолохов, но Федор Панферов тоже ничего – был наряжен руководить Всесоюзным совещанием редакторов. Открытие имело произойти в десять утра в большом зале Дома литераторов. В десять редакторы празднично расселись. Они не были классиками, а многие из них не были алкоголиками, многие вообще съехали из провинций на халявное столичное удовольствие, чего ж им в десять не рассестись. Но Панферов, повторяю, как хорошо было известно всем его знавшим, в десять утра если и садился, так только с целью принять стопарь на опохмел, жалобно выматериться и лечь обратно. Итак, ждут. Ждут... И в самом деле, к одиннадцати появляется Панферов. Недоопохмелившийся и недополежавший. Злой, как цепная сука. Транспортируют его

под руки из-за кулис, как адскую машину на взводе, и устанавливают на трибуне. Кладут перед микрофоном текст приветственного слова. Панферов икает, отпивает воды, текстом вытирает губы, потом потный лоб, потом сморкается в него и убирает в карман. С бычьей ненавистью смотрит в зал. И, наконец, тяжело произносит:

– Всех редакторов... я бы перевешал, как шелудивых собак! Но... поскольку это не в моих силах... пока... особенно сейчас... ох... Всесоюзное совещание редакторов объявляю открытым! вашу мать...

Когда первый автор после моего редактирования заплакал, я с этим делом завязал. Исправлял лишь редкие явные огрехи – с согласия. Над самим всю жизнь измывались – фиг ли теперь самому других мучить. Ссылки на учебник русского языка меня бесят. А откуда, интересно, взялись в академической грамматике все ее правила? Очень просто: кто-то взял и вставил. На основе уже существовавших ранее текстов. Спасибо за усреднение и нивелировку. Зачем я должен доказывать скудоумным, что синтаксис есть графическое обозначение интонации, коя есть акустическое обозначение семантических оттенков фразы, а нюансы-то смысла и возможно на письме передать лишь индивидуальной, каждый раз со своей собственной задачей, пунктуацией? Ученого учить – только портить. Я понимаю, что редактору сладка властная причастность к процессу творчества, он рьяно отстаивает в этом смысл и оправдание своей жизни. Так пусть не самоутверждается за счет моего текста. По законам, понимаешь, современной аэродинамики шмель летать не может. Не должен, падла, летать! А он летает... сука насекомая неграмотная. Так не умеешь летать сам – не мешай шмелю. Не учи отца делать детей. Я себе заказал типографский штамп, и теперь шлепаю его на все рукописи: «Публикация при любом изменении текста запрещена!». Хотя лучше шлепать в лоб. Что по лбу.

Поэтому Довлатова я «редактировал» мягко. Я позвонил, обсудил разницу в климатических и временных поясах, потребительскую ситуацию и политические прогнозы, и перешел:

– Тут у вас написано: «шестидесятизарядный АКМ».

– Гм, – выжидательно произнес Довлатов.

– У калашникова магазин на тридцать патронов. Шестидесятизарядных магазинов к автомату нет. Это в Афгане стали связывать изолентой два рожка валетом, для скорости перезаряжания. Но это нештатная модернизация, в армии запрещено. Возможно, дело просто в том, что наряд получает по два рожка с боевыми патронами, всего шестьдесят штук: один рожок примкнут, второй в подsumке. Но автомат все-таки тридцатизарядный.

– Гм. Возможно. Знаете, это так давно все было... я мог уже и забыть. Пусть будет тридцатизарядный. Хорошо.

Я чувствовал свою бестактность. Все-таки в охранных войсках служил он, а не я. От неловкости был многословным: падла-редактор как бы оправдывался.

– Дальше, – спросил Довлатов без излишней приветливости.

– Второе и последнее, – поспешил заверить я, и готовно добавил: – Здесь я не буду настаивать. Понимаете, ненормативная лексика – вещь такая, спорная... Но мне кажется, что слово «гондон» правильнее писать через «о», а не через «а». Как бы образование разговорного просторечия по аналогии литературному «кондом», который через «о». Это, конечно, дело слуха, в препозиции стоит редуцированный, но в принципе формальное расподобление при сохранении внутренней семантики идет именно по такому пути...

Я наворачивал все, что помнил из филологической терминологии. Я старался выглядеть сильно ученым и не сильно заразой.

– Возможно вы правы, – с веселым добродушием прогудел Довлатов, и я представил, как в Нью-Йорке ранним утром он задумывается над нюансировкой правописания русских ругательств.

– Это все, – поздравил я его со своим либерализмом. – Больше у меня никаких вопросов нет, текст идет в полной неприкосновенности.

– Прекрасно. Когда выйдет?

– В первом номере за восемьдесят восьмой год. Несколько экземпляров я вам пришло.

– Да, спасибо, я хотел попросить, интересно все-таки. Где тут достанешь, ваш журнал как-то не доходит пока до нас.

И рассказы благополучно вышли, и еще на телефонный столбик я поздравил его с первой, легка беда начало, публикацией на бывшей родине, и отправил пяток экземпляров, приложив к ним из тщеславия, узаконенного профессиональной этикой, собственную книжку, снабдив ее надписью, составленной из всяких хороших слов, насчет читателя-почитателя и младшего последователя по эстонскому маршруту.

Дарение авторами своих книг сродни гордости курицы за собственноручно снесенное яйцо. Не бог весть какое достижение, зато лично мое, сказал полковник. Обычно тебе дарят, а ты думаешь, на кой черт, все равно читать незачем: сам бы никогда не купил. А не дарят – легкое унижение: обошли знаком почтения, вроде и не по чину на тебя, дурака, добро тратить. Когда мне говорят за мою книжку «спасибо», мне чудится фальшь ситуации: тоже, восьмитомник Шекспира с золотым обрезом. Я зря похаял редакторов: один меня поучил. Издательство у нас большое, сказал он, а квартира у меня маленькая, и я раз в год чищу библиотеку: выношу всякий дареный мусор на помойку. После этого я выкинул почти все дарственные книги, а последующие перестал носить в дом, выкидывая непосредственно по расставании с дарителем. Особенно мне памятно выкидывание в Бильбао: я подарил переводчику свою книжку, маленькую, легкую и хорошую, на понятном ему русском, а он мне – двухтомник своих переводов: огромный, тяжелый, из авторов, которых я и по-русски читать не стал, и на испанском. Час по сорокаградусному солнцепеку я таскал и проклинал эти два кирпича: их было некуда выкинуть. В Бильбао нет урн – баскские террористы любили подкладывать в них мины: на злоумышленника, пытающегося где-то оставить какой-то предмет, смотрят бдительно и враждебно. Я специально зашел в кафе, взял холодного вина, сосредоточенно листал, попивая, и еле смылся.

Присланную в ответ Довлатовым его книжку «Не только Бродский» я, в числе немногих раритетов, выкидывать не стал. Он переслал ее с оказией в пакете мелких благодарственных презентов редакции. Позднее выяснилось, это была не единственная форма реакции. Тогда я впервые и увидел швейцарский офицерский нож, который тут же принес пользу в открывании бутылок и нарезании колбасы.

Характер у меня легкий, зато рука тяжелая. В смысле наоборот. Как это по-русски?.. Сам себя не похвалишь – ходишь как оплеванный. Потому что Довлатова стали потом печатать в Союзе все наперебой. Конечно, после этого не означает вследствие этого, с юстиниановым правом мы тоже знакомимся не по Гегелю, но кто-то должен был прокукарекать первым: рассветало с запада, вот уж кретинская метафора. После чего завохотали наперебой. «Иностранка» и «Звезда», «Октябрь» и «Литературка»; его классифицировали как блестящего писателя, одного из лучших писателей, лучшим писателем русского зарубежья в конце концов называли. Одновременно лучшими были объявлены: Горенштейн, Войнович, Максимов, Севела, Тополь с Незнамским и Незнамский без Тополя, Аксенов, Лимонов, Владимов и примкнувший к ним Зиновьев... память слабеет, но кучка была могуча. Стране открывали ее героев, и каждый был самый.

Привычка грамотного человека к чтению часто есть форма мазохизма. Критика меня влечет. Одна из целей критики – заставить читателя усомниться в своих умственных способностях. Я усомнился и стал читать Довлатова и пришел к выводу, что такую прозу можно писать погонными километрами. Мне есть очень мало дела до всего вашего семейства, сказал Коменж. У всяк своя компания, чего читать, тут и свои друзья осточертели. Я уже читал в детстве такую книжку, она называлась «Где я был и что я видел». Где ты был, ничего ты не увидел, хрен с тобой. Дали боги дожить, и стало спартанцам не до чужих бед, своих хватает.

В числе многого, чего я лишен, мне не дано постичь прелесть и смысл салонной жизни. Убожество «внутрилитературной тематики» во вторичности предлагаемого к потреблению продукта: если литература – производная от жизни, то разговоры о ней – производная от литературы. Пресловутое «литературное общение» есть поза подмены деятельности суетой: казаться вместо быть; форма паразитирования при искусстве; род субкультуры для причастных к клану. Хотя также – способ устройства своих дел: маркетинг и реклама – тоже нужны... но надобно ж и разграничивать. Представьте Дон-Жуана проводящим ночи в попойках с друзьями за философскими обсуждениями женских подробностей и особенностей и подчеркиванием роли своей личности в мировой сексуальной революции, а по бабам ходящего в редкие просветы свободного времени и протрезвления. Вот и у пчелок с бабочками то же самое.

Хочешь писать – сиди пиши. Хочешь печататься – расшибайся в лепешку печатайся. А вот если кто хочет именно быть писателем – то есть выступать перед читателями, не ходить на службу, жить на гонорары, захаживать в редакции на чай и коньяк, ездить по миру, вести беседы в домах творчества, прокуренные ночи рассуждать с коллегами о проблемах литературы, небрежно доставать из кармана писательский билет – провались он пропадом со своей обгорелой тетрадкой и сушёной розой. Ущемленное самолюбие и знак причастности к литературному процессу. Пар в свисток – сублимация: почему же почему так обрезали ему.

Примерно такой оценкой творчества Довлатова, понижая голос, с опасливым недоумением, в светских выражениях, я поделился с его старинным другом Лурье. Лурье большой скептик. Особенно по части литературных репутаций. Он пессимист. Когда штат «Невы» сократят до одного человека, а помещение – до одного чулана, там будет сидеть Лурье, иронично блестеть лысиной и очками, с язвительным обаянием врать по телефону, издеваться над завалившими стол и стены рукописями и жаловаться на жизнь.

– Господи, да конечно все это полная ..., – радостно сказал Лурье. – Ну, сделали имя, играют в эти игры, сами, понимаете, в это нисколько, конечно, не верят, а если кто и верит – так это уже просто полные Мы-то с вами прекрасно понимаем, что никакая это не литература, разная, понимаете, ... о своей жизни, так кто из нас не может бесконечно писать таких историй.

Опять же есть у кого остановиться в Нью-Йорке, выступить по «Свободе», получить за это какие-то доллары, – так надо ж быть свиньей, чтобы не отблагодарить человека. Заодно и оправдание командировки.

Но жизнь менялась стремительно, и литература менялась вместе с ней. Представления о литературе профессиональных критиков, как и полагается, менялись последними или не менялись вообще. И когда умный и образованный Вик. Ерофеев публично констатировал конец советской литературы – это было подхвачено, но не понято.

С литературы спали функции философии, социологии, журналистики, глашатайства, и чего угодно – как с самолета сбрасываются подвесные баки, и в измененной аэродинамике он теряет стабилизацию полета. Оказывается, подвесной бак составлял его большую и главную часть. Произошла литературная паника. Гвардейская королевская рота обнаружила себя голой. Она запела со святыми упокой литературе, на что хотелось утешить: умерла – закопаем.

Книг стало больше, а читать нечего. Фо хум хау. В круговороте крушения Империи русская литература тоже вступила в рыночную схватку между формой и содержанием, и этот базарный мордобой содержание выиграло безоговорочно. Это победа материала над отношением к нему автора. Руки над перчаткой. Победа безусловных фактов над условностью их изложения.

А ведь вся художественность формы – именно и есть авторское отношение. Хитромудрая композиция, пейзажные красоты и аллегории, извивы духовных бездн, стилистическая изысканность и философические размышления – понадобились читателю во вторую очередь, а большинству и вовсе не понадобились, ибо даже соловей, по справедливому замечанию классика, поет оттого, что жрать хочет. Ему возразили, что соловей хочет размножаться, на что

был бездушный ответ, что не пожрешь – не размножишься. Когда читателю нечего жрать, он бросает размножаться, что мы и наблюдаем: это безусловные факты.

Рафинэ не в кайф сечь, что сочинительство, беллетристика, фикшн – еще не исчерпывает литературы и даже не является главным, основополагающим и исконным в ней. Основа прозы – факт. Основа поэзии – чувство. Великие события и великие чувства лежат в основе литературы. «Илиада» – это отчет художника об экспедиционной кампании героев. «Улисс» – это отчет художника об одном дне из жизни микроба. Джойс объемнее и эстетически богаче Гомера. Всем изощренным арсеналом наработанных средств литература въелась в маленького человека: он тоже – глубокий! интересен! велик! герой! Да: но тоже. Двести лет назад обращение к маленькому человеку и обыденному событию было открытием, поворотом, актом справедливости. Подзорную трубу повернули другим концом: какое богатство мелкой флоры и фауны! вот на каком уровне, оказывается, заложено бытие! И Акакий Акакиевич заслонил Вещего Олега, а чаепитие заглушило грохот сражений. Наступил новый этап.

На этом этапе литературе рекомендовали обыденность: персонажей и событий, чувств и языка. А в чем искусство? А в сознании тонкой системы многозначных условностей, в том вкусе и красоте изложения, которые базируются на овладении традицией.

Началось внутрисебясамойпереваривание: в замкнутом ограничением пространстве предметом литературы стало развитие литературных средств. Что естественно привело к внутрисебясамойпотреблению. Ах, как это написано: новое слово. Об чем слово-то, граждане? Белого Дракона все одно не переплюнешь.

Верните мяч в игру, вздохнул старый авантюрист. Вы можете конгениально и сверхискусно изображать теннис без мяча сколько угодно, но на Кубке Дэвиса вас не поймут. Это ваши личные игры в бисер.

Героев, стр-расти, простоту и сенсационный материал оставили масскультуре: ваш телескоп примитивен, у нас свой микроскоп.

То есть, как существует наука чистая и прикладная, образовались литература чистая и литература прикладная: одна для профессионалов, другая для всех потребителей.

А про чего всегда влекло человека узнавать? Великие герои и отъявленные злодеи, грандиозные катастрофы и необычайные приключения, любовь и преступление, тайны государства и тайны мироздания. Это стало достоянием массовой литературы. Но коммерческий успех книги об этом еще не свидетельство ее художественной неполноценности. В вину ей ставят: а) она привлекает своим материалом, а не художественностью; б) она вообще нехудожественна, т. е. арсенал средств изложения не оригинален и беден. Ты не из нашей корзинки, дешевка.

Говоря об истории литературы, наука признает шванк, факетию, анекдот, хронику, сагу. Говоря о современной литературе, наука обязательным ее условием ставит выдуманность и соблюдение условных критериев «искусства». Не поступимся принципами. Тем хуже для «науки». Если можно таковой счесть критику. Об этой критике кратко и исчерпывающе сказал Денис Горелов. Жму ему руку через разделяющую нас госграницу.

Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно; в противном случае критика превращается в наглую самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса. Если вам нравится сентенция, получите и автора: доктор Йозеф Геббельс.

Где Трифионов? Где Рыбаков? Где Гроссман? Где Айтматов? Какие люди были, блин, какое время было, что ты. Дети, крепитесь, с вашим дядей Авелем произошло несчастье.

А бестселлерами с лотков идут справочники по оружию, флоту, авиации, танкам, что делать в постели и как нажить деньги, биографии великих, история по Гумилеву, война по Суворову и золото партии по Буничу. Ближе к жизни, ребята! По этой причине «Новый мир» печатал «Одлян» и «Желтых королей»: чего там в жизни делается? да скажите вы просто и внятно; а без вашего эстетического отношения к словесности мы обойдемся. Гений успеха

Радзинский: книга об убийении царской семьи. Муза успеха Васильева: книга о «кремлевских женах».

Солженицын написал великую книгу – «Архипелаг „ГУЛАГ“». Все прочее им написанное не стоит выеденного яйца и стало никому не нужно и не интересно раньше, чем кончило печататься. Шаламов был лучшим писателем, чем автор «Одного дня Ивана Денисовича». Из того, что «Архипелаг» не соответствует канону художественной литературы, явствует условность и ограниченность канона. Читателю, искусству и истории плевать на каноны. Они меняются.

И сейчас канон меняется на наших глазах. Обычное дело. Часть «масслитературы» канонизируется в «элитлитературу». Нормально. Подпитка. Высоцкий. Жванецкий. Живая жизнь. Тоже было: «низкий жанр».

Да что: Пиккуль остался, и Штирлиц остался, и уже второе поколение читает и цитирует «фантастов» (низкий жанр!) Стругацких – и хоть бы одна зараза ради разнообразия призналась, что выросла на Леониде Леонове.

А театры плачут по зрителю и ставят «Филумену Мартурано». Кто такая филумена? кому она что мартурано? Поставьте пьесу, трагедию поставьте, про Героя Советского Союза Руцкого в разносимом танковыми пушками парламенте России! про превращение затурканного интеллигента в главвора страны! про карьеру искусствоведа на панели! Нет: на изюм получите педерастическую версию классики: шарман, шарман! Не хотите? Тогда Пинштейн из Мексики или как его там будет кормить народ мыльной оперой «Просто богатая рабыня» или как ее там: он бездарен и умен, а вы талантливы и глупы. А у народа потребности.

Когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, а весь союз писателей по кочкам понесет? Фантастика – не литература, дамский роман – не литература, уж Теккерей забыт, а Шерлок Холмс им все детектив, а не литература. Им бы, умным, что-нибудь такое около эколо. Как в ересь, в неслыханную простоту, которая грешнее воровства. И вот с незамысловатым юмором автобиография конечно читается интересней все-таки Нарбиковой или Харитоновой с их онанистическими потугами на мудрую эдакость ни об чем и об всем на свете. Ну что ты, говорит, Левушка, конечно Довлатов лучше. Тут он трах ее дубиной по лбу! И с тех пор во всем полагался на ее литературное мнение.

И я положился на литературное мнение Довлатова, с которым меня эстетически, так сказать, примирил Вик. Ерофеев. В глазах коллег у Вика Ерофеева должны быть два гадских порока: он много знает и много понимает. А кто ж, батюшка мой, любит того, кто его умней. А поскольку знаменитость под пером собеседника предстает умной в меру разумения этого самого собеседника, то в «Огоньке» в беседе с Виком Ерофеевым в рубрике «Поверх барьеров» Довлатов предстал умным, а также честным и невеселым.

– Я свое место знаю, – сказал усталый и битый Довлатов. – Я – эмигрантский русский писатель в Америке; не из первых; но и не из последних. Где-то посередине. Есть высший класс в литературе – это сочинительство: создание новых, собственных миров и героев. И есть еще класс как бы попроще, пониже сортом – описательство, рассказывание – того, что было в жизни. Вот писателем в первом смысле я никогда не был – я бы назвал себя рассказывателем.

Это было сказано с достоинством и скромно. Слава уже пришла.

Я ожидал услышать (прочесть) иной ответ. И впервые ощутил к нему нотку печальной любви. Я был тогда стопроцентно согласен с такой самооценкой. А сейчас согласен чуть больше – в сторону увеличения. Мне это понравилось до чрезвычайности.

Я хранил эту любовь года два. Особенно она увеличилась, когда Довлатов уже ушел... Пока однажды зимой не позвонил из Ленинграда приятель с радостной новостью:

– Здорово. Как живешь?

– Ага. Сегодня я тоже подстригал мои розы.

– Тут, значит, выходит у нас такая многотиражка, «Петербургский литератор».

- Слышал. Так что?
- Вот тут у меня последний номер... Не видел?
- Откуда.
- Весь посвящен Довлатову. Разные там его письма, воспоминания о нем и прочая муть.
- Ну.
- Про тебя тут тоже есть.
- Забавно. Польщен. В связи с чем, собственно?
- Хочешь послушать? Сейчас... Вот:

«Что делается с сов. литературой? У нас тут прогремел некий М. Веллер из Таллинна, бывший ленинградец. Я купил его книгу, начал читать и на первых трех страницах обнаружил: „Он пах духами“ (вместо „пахнул“), „продляет“ (вместо „продлевает“), „Трубка, коя в лавке стоит 30 рублей, и так далее“ (вместо „коия“, а еще лучше – „которая“), „снизошел со своего Олимпа“ (вместо „снизошел до“). Что это значит? Куда ты смотришь?..

= Ваш С. Довлатов».

- Что скажешь? – спросил приятель.
- Экая скотина был покойник, – сказал я.
- Письма к Арьеву.
- Лучше бы он купил себе словарь.
- А зачем? Так интереснее. Да послушай соседний абзац:

«Посылаю тебе две копии – во-первых, из хвастовства, а во-вторых (я как-то отвлекся и ушел в сторону) – как материал для твоей обо мне заметки, коя меня заранее радует...» Вот тебе твоя коя трубка и его коя заметка. Вы вообще знакомы были? Ты ему что, чем-то насолил?

К тому времени господин Мольер имел полную возможность убедиться, что слава выглядит совсем не так, как ее обычно себе представляют, а выражается преимущественно в безудержной ругани на всех углах.

– Насолил... – сказал я, скрывая огорчение. – Первым напечатал в «Радуге».

– А. Так тогда понятно, что ж ты хочешь. Ни одно доброе дело не бывает безнаказанным. Про «Радугу» тут тоже есть... в соседнем письме:

«У меня есть ощущение, и даже уверенность, что в СССР скоро начнут печатать эмигрантов... – так, – Я ждал 25 лет, готов ждать еще... – Вот: – Но если да, то возникают (уже возникли, например, в таллиннской „Радуге“) проблемы». Что за проблемы-то?

– Правописание слова «гондон», – сказал я. – Интересно, там даты нет на письме?

– Про «Радугу» – 2-е декабря 88-го года.

– Ощущение и уверенность у него возникли после моего звонка, что мы его в первом номере печатаем.

– Информация – основа интуиции.

– А про трубку?

– Минутку... 13-е мая 89-го.

– Покупатель. Книгу он купил. Библиофил. Эту книгу я ему сам послал.

– Поздравляю, – сказал приятель. – На хрена?

– Да вместе с журналами, где были его рассказы.

– А вот меньше надо выпендриваться и раздаривать свои книги. Он ведь хотел получить напечатанными свои рассказы, а вовсе не твои.

Подобный неожиданный привет из другого измерения может на полчаса подорвать веру в людей, если у кого есть вера в людей. Я вытащил с полки «Не только Бродского» и прочитал: «Михаилу Веллеру с уважением и благодарностью. С. Довлатов. 2/5/89. Нью-Йорк».

Летом в Ленинграде я позвонил Арьеву. Мы не были знакомы. Таким образом, нас познакомил Довлатов. Не могу сказать, с какой целью я звонил. Тем более этого понять не мог Арьев.

– Вы хотите напечатать опровержение? – спросил он.

У меня все-таки хватило ума ответить:

– Упаси меня Боже дискутировать с умершим. Просто я вижу сомнительную ему услугу в публикации этого письма.

– Понимаете, у него иногда было довольно своеобразное чувство юмора, – объяснил Арьев мягко. – Здесь содержится такая некая ирония.

– Я попытаюсь понять, – пообещал я. Ирония – оно конечно.

Арьев оказался приятным и скромным человеком и наблюдательным критиком. Из одной его статьи я узнал, что в сочинениях Довлатова все слова во фразе обязательно начинаются с разных букв. И никогда еще ни один литературовед не делал замечания более верного. Можете проверить. Я не знаю, какой смысл в этой особенности, но за ней, видимо, таится большая скрытая работа, являя посвященному за внешней простотой свидетельство настоящего искусства. Правда, все фразы очень короткие.

Если обратиться к литературным аналогиям, это более всего напоминает искусство лейтенанта Шайскопфа из «Уловки-22». Огромной и скрытой работой он добился от кадет своей роты церемониального шага с руками, неподвижно прижатыми к бокам. И когда на параде изумленное невиданным зрелищем командование вопросительно воззрилось на Шайскопфа, он звенящим от торжества голосом известил:

– Смотрите, полковник! Они не машут руками!

Продолжение этой истории одной лошади было вполне в духе довлатовских произведений. Годом спустя я обсуждал с художником оформление книжки «Легенды Невского проспекта».

– На заднюю сторонку обложки дадим выброски, – решил художник. Он любил и умел делать прекрасные гравюры на заглавие, в общем самоценные, а в остальном предпочитал идти по кратчайшей линии наименьшего сопротивления. И подкрепил позицию заботой о моей пользе: – Книга должна выглядеть рекламисто. У тебя есть всякие там рецензии о тебе?

Он унес папку с вырезками и через неделю ознакомил меня с эскизом.

Верхняя из четырех беспощадных цитат гласила:

«У нас тут прогремел М. Веллер из Таллинна, бывший ленинградец. – С. Довлатов. Нью-Йорк». Угадайте, чья фамилия была обведена скорбной рамочкой.

– Ну как? – довольно спросил он.

– Слушай, – сказал я, – там, вроде, было еще одно слово, в оригинале. Дай-ка поглядеть... вот: «некий М. Веллер».

– Не просто чекой, – сказал художник. – Я понимаю. Вышеупомянутой чекой. Отзынь. Мы не в армии, ты не сержант.

Художники требуют подхода. Я налил и рассказал историю.

Художник выслушал историю и пришел в негодование.

– Что значит – «некий»? Ху из ху! Какого хрена? Во-первых, он отлично знал, кто некий, а кто какой. Во-вторых, справедливость должна торжествовать. В-третьих, Довлатов тоже ленинградец, на ленинградской книге это очень уместно: я долго думал. В-четвертых, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Отходы – в производство. В-пятых, он бы оценил, я думаю, изящество ситуации.

Он задумался и заржал. За пределами искусства все художники циники.

Я тоже задумался, но ржать не стал. Я люблю циников. Я сам циник. А циники сентиментальны.

Меня вдруг, что называется, пронзила печаль. Я представил ощущения Довлатова, писавшего это письмо. Чужой в Америке. Без языка. Эмигрантский круг. Признание на родине еще не пришло. А кто-то, моложе, приехал после него из того же Ленинграда в тот же Таллинн, и издал книги, печатается, принят в СП, удачливый ловкач, и звонит ему в Нью-Йорк, и пуб-

ликует его в таллинском журнале, и пьет с его бывшими друзьями, откуда взялся, стал там своим, и посылает свою книжку, вышедшую в издательстве, где двенадцать лет назад, в прошлой неудавшейся жизни, должны были издать его... – так мало того, еще и в Нью-Йорке, в его теперешних кругах, этот самый еще и чего-то прогремел... Все мы все понимаем, а все-таки горько бывает, господа...

О покойниках – правду или ничего. Если кто что-то значил в твоей жизни, ты продолжаешь относиться к нему как к живому, просто отсутствующему. Продолжаешь говорить о нем как и раньше, и шутить, и разговаривать с ним, и спорить. Только он уже не скажет тебе ничего нового. Поэтому оставлять за собой последнее слово в споре с тем, кто уже не сможет возразить, нехорошо.

Черт. Я оставил за собой последнее слово. И ржать мне тут было нечего.

Но я зря так надеялся. Случай оказался не тот. У меня был когда-то рассказ, где покойник на похоронах последнее слово оставляет за собой.

И тут ведь последнее слово осталось за ним!

Говорю недавно по телефону с Генисом. Лотман-Букер, Таллинн-Нью-Йорк, ля-ля – шарк-шарк, общие знакомые: узкий круг и тонкий слой. Довлатов!

– Мы с Сережей были близкие друзья.

– Вот как.

– Он мне о вас говорил. Очень высоко отзывался.

– Гм? Не знал.

– Да, причем чтобы Довлатов, который очень редко, почти никогда не отзывался хорошо о прочитанных вещах, знаете...

– М-угу...

– А вы не читали, в газете «Литератор» опубликовано его письмо Дару? он вас там очень хвалит, просто очень.

– Дару? – опасливо переспросил я. – Нет... не знаю. Я знаю было опубликовано письмо Арьеву, где он обо мне упоминал.

– Нет, Дару. Вы знаете, есть такой – Дар?

– М-м, слышал, конечно.

– И вот там, в «Литераторе»...

– В каком «Литераторе»? Есть «Петербургский литератор» (если он еще выходит, они ведь в Питере погорели всем домом), был «Московский литератор»...

Мую реакцию на сообщение можно было назвать непритворной заинтересованностью.

– Ей-Богу точнее не помню, мне недавно привезли из России чемодан литературы, еще не все в картотеке рассортировано.

Слышимость с Нью-Йорком отличная, но вразумительности не прибавляла: я подозревал игру в испорченный телефон. Уточнил:

– Давно это было?

– Н-не помню точно...

– Года два назад?

– Не-ет. Месяца два-три.

Такие дела. Я тщился уяснить: новый поворот, мотор не ревет... еле лапками колышет: сдох. Свет погасшей звезды. Клевещешь, Перси, на него: клеветать! Но представляю мнение Гениса о моем взыгравшем тщеславии после этого занудства.

На этой новости мы и распрощались, два иностранца, два русских литератора еврейской национальности и нероссийского местожительства.

– Тере-тере, – сказал он.

– Бай-бай, – сказал я.

Иностранцем становишься постепенно.

Постепенно перестаешь обращать внимание на мелочи: что автобусы почище и в них не толкаются, что улицу переходят только на зеленый, что при этом идущая с поворота машина всегда тебя пропускает, а давая тебе дорогу на «зебре» тормозит трамвай, что все спокойные и нигде не лезут без очереди; привыкаешь в такси здороваться с шофером, привыкаешь к сдержанности общения и к пунктуальности встреч, что новогодние елки ставят чуть раньше, на римское Рождество, с ним можно поздравить, сделать подарок; привыкаешь к климату: погода бывает разная; привыкаешь, что в гостях не кормят обедом, что часто слышишь нерусскую речь, что вместо таблички «переучет» – «инвентура».

Как привыкаешь к новой моде, и вот она уже естественна глазу, естественны пограничники и таможенники в поезде и аэропорту – обычные люди за мелкой процедурой, как автобусные ревизоры; естественно постоять за визой (раньше было – за водкой, за хлебом, за носками, какая разница), зато в очереди за билетами стоять не надо, чисто и свободно. Естественно, что время идет, и далекие друзья приезжают к тебе все реже, и язык местных русских газет становится понемногу провинциальным, а российские газеты есть в киосках не всегда, редко, иногда. Сокращается время телевидения, долго поговаривают об отключении, ну нет уже петербургского канала, и российский исчез, остался останкинский по вечерам; к приему финского телевидения привык давно, а здесь появляются новые каналы, гонят в основном американские сериалы, и в их звуковом фоне начинаешь различать, понимать американскую речь, а эстонская обычна; что с того.

Какая, в сущности, разница, что деньги считаешь на кроны, уже не сбиваясь по инерции назвать их рублями, что переезжаешь на финские йогурты, датское пиво и американские сигареты: тот же пейзаж за окном, те же люди, разве что машины меняются, так это везде так. Однажды замечаешь, что перестал выносить мусорное ведро: весь мусор спихивается в яркий пластиковый пакет из-под очередной покупки, и сам этот мусор нарядный и пестрый: баночки, коробочки, бутылочки, не имеющие ничего общего с когда-тошними помоями. Замечаешь при очередных российских катаклизмах свое приятное ощущение безопасной непричастности: твоей семьи это не касается, тебе лично не грозит. На Рождество получаешь стандартное поздравление Президента Республики, на четырех языках, русского нет, нет в документах и на вывесках. Хлопаешь шампанским под звон новогодних курантов Кремля в телике, звонишь родным и друзьям в заграницы с пожеланиями, а здесь еще только одиннадцать, и через час хлопаешь еще раз, по местному времени, и звонишь в Белоруссии и Израили, там время то же.

Ты просто живешь здесь, а мог бы жить в другом месте, что из того; внутри тебя ничего не меняется: человек есмь; страсти, мысли, убеждения, привязанности и интересы – все прежнее... Хау! мы с вами одной крови – вы и я.

Россия – остается своей: ты приезжаешь – здорово, ребята! Смотришь в лица, прочее мелочи. И по дороге от лица до лица – шишеешь: от грязи и бьющей в глаза, нерадивой и бесстыдной нищеты, естественной окружающим: от обшарпанных прилавков, вонючих лестниц, колдобистого асфальта; от дебильной медлительности кассирш и неприязни продавцов, от грубости равнодушия и простоты жульничества, агрессивной ауры толпы, где каждый собран за себя постоять, туземной раздрызганности упресованного телами транспорта, нежилой неуютности кабинетов и коридоров, от неряшливой дискомфортности редких кафе и убогой пустоты аптек. Таксист хам, редактор враль, слово не держится, в метро духотища, водка отравка, вязким испарением прослоена атмосфера, тягучий налет серости на всем, и от этой вселенской неустроенности устаешь: сам процесс жизни делается тебе труден неизвестно отчего.

Вдруг замечаешь, что ты не так одет: негладящиеся штаны и рубашки вольных европейцев, интеллектуалов и профессуры, неуместны среди двубортных костюмов старших банковских клерков, словно ты фрондируешь из бедности, а съют при галстук не вписывается меж растянутых свитеров и несвежих клетчатых рубашек. Не понимаешь выражения глаз и голоса при официальном знакомстве: тебя изучают, оценивают и взвешивают, чтобы избрать

стиль общения согласно твоему положению: единой и равной для всех дистанции официального общения не существует, а ошибочная нелепа. Не готов к тому, что желание выпить по рюмке обычно переходит в намерение неукоснительно прикончить бутылку и взять следующую.

И вдруг обнаруживаешь в себе остранившую и отстраненную независимость: ребята, я уже не здешний. Я уже живу за границей. Достоинство и отрада свободы – мягкая улыбка: я ни от кого ничего не хочу, мне ни от кого ничего не надо, я – вне, отдельный: я даже нетвердо знаю, что тут у вас происходит и по каким правилам на какие ставки вы играете. Обнимаю, искренне ваш.

И не просто хочешь домой: нет, в главном тебе здесь нравится, интересно, здесь твои друзья, здесь решаются дела и судьбы, здесь кипит жизнь – это, вроде, и твоя тоже настоящая жизнь, впечатления, события, новости, знакомства, планы, все это хорошо, – но при этом одновременно хочется жить дома. Там. И не то чтоб там лучше – нет, там никак, скучно, духовно пусто, одиноко, привычно, нормально: как раньше, как обычно; как всегда. Чуждо. И кажется, будто там для тебя внутренне ничего не изменилось, и будто сам ты внутренне не изменился, – но и здесь чуждо! тяжело; неприятно; непривычно; зависимо. Не твое. Ты был отсюда. Но ты уже не отсюда.

Россия, в которой жил, живет в твоём естестве той, неизменной, живет в рефлексах и ментальности, и по песчинке исподволь меняется вместе с твоей памятью и тобою самим. А настоящая Россия меняется реально. Ты следишь за событиями, переживаешь их умом и нервами – но не шкурой. Ты дышишь другим воздухом. И ты замучишься входить в эту воду дважды.

И Ганопольскому в «Эхе Москвы» на вопрос: ну, как тебе Москва? я мог ответить честно только одно: ребята, в этой сверхгигантской куче дерьма оскорбительно и непереносимо все. Кроме одного: но! ребята, вы все здесь...

И давно мне напоминает эта грустная метаморфоза гениальный среди прочих рассказ Брэдбери «Были они смуглые и золотоглазые». Как колонисты на Марсе постепенно и незаметно для себя превращаются в марсиан, и уже удивленно не принимают прибывших землян, а те ломают головы, где ж колонисты и откуда ж эти марсиане. Метафора эмиграции. Особенно применимая сейчас к русским, безо всяких волевых и сознательных шагов и подготовки оказавшимся в «ближнем зарубежье». Для себя я называю его «межграницье».

«Межграницье» – так я назвал телефильм, который сделал в январе девяносто второго, сразу после распада Союза. О наступившей, сразу еще не осознанной трагедии русских, вдруг проснувшихся иностранцами за границами России, чужими и там и здесь. Фильм не был принят. Прогрессивное Останкино сочло, что он играет на руку красно-коричневому.

Забавно, что сообщил мне это тот самый босс, который раньше устроил показ ленты «Русские в Америке». Фильм отображал жизнь этих мятущихся русских в этой стране контрастов Америке преимущественно двумя красками, белой и черной. Как предписывает производству искусства закон драматизма, преобладала черная краска. Там одни радовались свободе и бизнесу, таких было меньшинство, а большинство страдало от бездуховности жизни и ненужности русской культуры, носителями которой оно является. Я с замиранием ждал, что здесь обязан возникнуть Довлатов. И наконец – впервые увидел его: не на фотографиях, а так сказать, в движущемся и озвученном изображении. Это не была сцена довольства и успеха. Довлатов был большой, бородатый, низколобый и добродушно-мрачный. Его облик, скупой жест, интонации, внакладку на какой-то серо-бытовой фон, вполне создавали впечатление скептической разuverенности во вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне: картина выглядела пессимистично и должна была, видимо, служить мысли, что писателю в Америку ехать не надо.

Но как для России московская прописка всегда была чем-то вроде знака причастности к касте, или качества, или социального статуса (как в самой Москве можно жить, скажем, на

Кутузовском, а можно в Чертаново) – так потом в России, и в Москве, американская прописка (в меньшей степени немецкая или французская, но теперь даже израильская) стала тем же свидетельством социального положения. Мол, каков шесток, таков и сверчок. Хотя давно известно: что в России наилучше всего быть иностранцем. Он живет в Америке? – о, значит, этот человек уже чего-то стоит.

Сей графаретный взгляд не лишен здравого зерна: успех – это ведь место и время, ясно... Куда направлены прожектора, где вершатся главные дела и главные карьеры – там цена всего автоматически повышается: и цена человека, и цена слова, и цена поступка – в глазах тех в первую очередь, кто сам не там. Ультима регис: «Так делают в Париже!» А ежли кто живет на помойке – значит, по его качествам и стремлениям там ему и место: чего ж он стоит, чего ж от него и ждать. География – наука психологическая. Твое место возле параша? исчерпывающая характеристика.

Сравнение позорное и унижительное: Россия сейчас перемешана гигантской помойкой в сепараторе, где активные элементы с легкой фракцией, сливками и дерьмом, смываются в Америку. Она – значимее. Средняком в Риме, чем патрицием в деревне. Кто раз ощутил себя гражданином великой державы – не будет счастлив в принадлежности к державе второстепенной. Раз человек не остров, а часть материка, то материк должен быть приличный. Не сам по себе, но часть семьи, рода, стаи, команды, армии, страны, и сила и честь страны – его сила и честь. Я римский гражданин!

Топот и стук: пробивают головами стенку в соседнюю камеру. Там пайка больше и прохаря новее: и закон. Правильная хата.

Кому повем мою печаль? Для умного человека все истины банальны. А для себя кто ж не умен настолько, чтоб доказывать их прочим, чьи умственные способности не то чтоб презираешь, но затрудняешься заметить невооруженным глазом, и каковое занятие сродни газетной работе и каторжному развлечению по пересыпанию кучек земли по кругу. Что провоцирует развитие нервных заболеваний.

Поэтому пьют читатели, и поэтому пьют журналисты. Писатели пьют еще и от отсутствия читателей. В питейной биографии Довлатова самое радостное, кажется, место – судя по письмам – это когда в Вене он обнаружил, что ректифицированный медицинский спирт можно купить в аптеке за одиннадцать пфеннингов пятьдесят грамм. Что есть литр водки за шиллинг. Под вопросом, учат ли в австрийских школах арифметике. Тупые австрияки не высчитали этого до сих пор.

В этом удивлении – отличие того, кто становится иностранцем сразу, прыгая с берега в воду, от того, кто делается им постепенно: сыровато, влажно, еще мокрее, и вот ты уже ни рыба ни мясо, а так, земноводное. На полпути к Луне.

Вышеупомянутыми соображениями мы и поделились с вымытой по частям холодной водой копенгагенской москвичкой, которой благородный дон, за неимением ируканских ковров, показал швейцарский офицерский нож, присовокупив мнение, что очаровавший ее знаменитый Кабаков такого просто не видел.

Этот ножик я всегда беру с собой в поездки. В его рукоятке упрятано все необходимое для застолья и мелкого ремонта всякой всячины. Даже закаленная пилка с обратным ходом, которой можно будет перепилить наручники, когда меня арестуют за нарушение всех норм литературных приличий и вообще нравственности.

Именно им я и нацелился резать закуску в кабинете главного редактора «Московских новостей», когда появился именно Кабаков. Первым делом я ткнул пальцем в нож и процитировал известное место из «Сочинителя». Кабаков извернулся красиво. Он вытащил из кармана точно такой же и положил рядом.

– Для пары, – сказал он. – На память от меня.

Тем самым он убедительно возразил, что ему так известно, как выглядит швейцарский офицерский нож. Только этот был сделан не в Китае, но именно в Швейцарии. Не такой попался мальчик, чтоб таскать в карманах дешевку.

– Это нельзя рассматривать иначе как повод, причем уважительный, – сказал он. – Есть предложение начать пить.

Но пить мы начали позже, и за литром кукурузного самогона обсудили не только сравнительные достоинства и характеристики карманных ножей, но и ценные особенности прочего холодного и огнестрельного оружия, обнаружив массу общих пристрастий и интересов. Писатель, оружие и пузырь – перспективное сочетание.

Это был чистый реваншизм. В советское время интеллигенту и гуманисту полагалось считать, что оружие – нечто безусловно плохое, любят его трусы, негодяи и люди вообще порочные. Хотя по этой логике армия должна быть последним прибежищем трусливых негодяев – одновременно идеалом человека провозглашался солдат, а вершиной любви – любовь Дзержинского к маузеру. Отрицая Дзержинского, вольнодумец плевал в маузер. Человек звучал гордо. Обезьяна, вставшая на задние лапы, взяла в передние палку совсем не для того, чтобы ею подтолкнуть марксиста Энгельса к созданию истмата. С тех пор оружие явилось естественным продолжением мужской руки, и по этим рукам призывалось дать, и крепко дать. Достать чернил и плакать. Где господствует мораль – там нет места истине. К несчастью или к счастью, но щек на свете меньше, чем желающих врезать по ним дважды. Поэтому естественная и природная функция любого нормального мужчины – защищать себя, свою семью и дом. От кого? Была бы шея, а любитель по ней дать всегда найдется. Почему? Потому что человек создан изменять мир, и никогда не удовлетворится существующим. Агрессивность – это аспект избыточной энергии, имманентной в человеке, благодаря которой он и переделывает мир. Хапок, захват, сражение – простейшая форма передела мира. Оружие – инструмент передела: инструмент жизни. Это сила власть: самоутверждение: я хозяин жизни, я переделываю ее по своей воле и разумению, я действую – и значит я живу. Не говоря уж проще о разных критических, пограничных ситуациях, когда оружие решает вопрос самого твоего существования (а честь? а достоинство? а справедливость?..).

Поэтому джигит может быть оборванец, но чтоб оружие в серебре. И коллекции оружия всех эпох – тому подтверждение.

Оденьте матadora в тренировочный костюм и дайте ему в руки колун – что скажут испанцы о моменте истины?

Один даст съесть пуд соли – другой возьмет в разведку. Человек познается в пограничной ситуации: на пределе опасности и напряжения. И неизбежно – стремится к ним: реализовать все заложенные в нем силы и возможности. Где ж жизнь острее, чем в бою, и мрачной бездны на краю.

Поэтому военные и блатные песни Высоцкого. Адекватный материал: накал и риск борьбы на грани смерти – обнажение сути.

Поэтому трещит, бомбит, взрывается голливудское муви.

Поэтому грохочут кольты и базуки у Кабакова, а московские девушки у Пелевина рассуждают о калибре авиапушек люфтваффе.

Писатель, авантюрист в накале нервов и вершения миров за своим столом, влеком инфернальной красотой оружия как знаком сильной страсти, решительных поступков, крупных событий: всемогущества и крутизны в своем воображаемом, созданном мире.

Естественная сублимация. Без нужды не обнажай, без славы не вкладывай.

И когда в Эстонии сделали свободную продажу оружия, я сверился с любимыми справочниками, выправил справку, что я не псих, и справку, что был охотником и умею стрелять, и пошел в магазины покупать «Гризли». Это .45 кольтовская машина под патрон «винчестер-магнум», которая должна выкидывать нежелательного посетителя обратно на лестницу

прямо сквозь дверь. Хотя вдвое дешевле обходился несравненно безотказный «Вальтер ПП», 9 мм которого вполне достаточно, чтоб устроить любой сборной по карате прослушивание Шопена лежа.

Хотелось пощелкать пистолетом и пострелять, но я был безоружен и нетрезв, а Кабаков подписывал номер: здесь с легким креном мы подошли к концу забористого бурбона «Катти Сарк», Нэн – короткой рубашки, с непревзойденной в истории скоростью парусника гонявшей через ревущие сороковые, свист и пена, в ту самую Австралию, откуда теперь тоже приходят письма от старых друзей, где тоже переводят с русского и платят деньги за чтение лекций по современной русской прозе. Боги, боги мои.

- А ведь я хотел уехать в Австралию, Бисмарк.
- Глупости, Мольтке! Что б вы делали в Австралии?
- Разводил бы. Розы.
- Зачем?!
- На продажу...
- Ерунда! Там не растут розы.
- А что там растет?
- Овцы.
- Ну, разводил бы овец...
- Зачем?!
- На продажу...

В самолете австралийской линии я наслаждался мемуарами Бунюэля. Чтобы в двадцать седьмом году сделать «Андалузского щенка», надо быть действительно гением; это вам не Бергман. Когда в восемьдесят втором этот фильм демонстрировался в Доме кино, то на анальном кадре, крупным планом бритва половинит глаз, в зале раздался вскрик и звук упавшего тела. Нервный вскрик и тяжелое тело принадлежали одному из лучших довлатовских друзей Евгению Рейну. Ку дэ мэтр!

А лучшее место в мемуарах Бунюэля – это как он читал мемуары Дали. Закадычные земляки, они решительно разошлись после знакомства с Гала. Она предпочла Дали, а Дали предпочел ее, Бунюэль же сам хотел предпочесть их обоих, в чем ему было отказано.

Объективность и такт не числились среди достоинств Дали и не входили в его задачи. Бунюэль ознакомился в мемуарах, среди прочего интересного, кое с чем о себе: и несколько огорчился. Он огорчился, снял телефонную трубку и позвонил Дали, который в это время был в Париже.

- Здравствуй, Сальваторе, – сказал он. – Это я, Луис.
- Здравствуй, Луис, – ничуть не удивившись, сказал Дали. – Очень рад тебя слышать.
- Я подумал, почему бы нам не встретиться.
- Действительно, хорошо было бы встретиться.
- Почему бы нам не посидеть, не выпить вина...
- Это было бы прекрасно, Луис...

И вот, двадцать лет не видевшись, знаменитый Бунюэль и еще более знаменитый Дали встречаются в кафе. Они обнимаются, вздыхают, сколько лет сколько зим, печально и любовно оглядывают друг друга: садятся под тентом на бульваре, Париж, пьют белое вино, курят; вспоминают молодость, говорят о жизни и об искусстве. И наконец Бунюэль приступает:

– Сальваторе... Я тут недавно прочитал твои мемуары. Прекрасная книга. Замечательная! Я получил наслаждение. Но, признаюсь, хочу спросить тебя, все-таки мы с тобой старые друзья, вместе когда-то начинали, вместе бедствовали... скажи – ведь это ни по сюжету необходимо, ни смысловой нагрузки... не улавливается: зачем тебе нужно было так меня обосрать? Это так обязательно? или тебе было приятно? не могу поверить...

На что Дали глотнул вина, затянулся сигарой, напустил дым, подкрутил иголки своих золоченых усов, и с нежностью ответил:

– Луис! Ты ведь понимаешь, что эту книгу я написал, чтобы возвести на пьедестал себя. А не тебя.

Золотые слова. Есть у меня раздражающая привычка выражать простую мысль заходом столь дальним, как стратегический бомбер за 200 км входит в посадочную глиссаду, целясь на полосу. На прудах колышутся неньюфары, потому что пишутся мемуары. Эту мартыновскую строчку я понял, только прочитав Ростана, как там неньюфары распускаются в темной глубине – а всплывают уже являя себя благоуханными и белоснежными: поэты, значит, так же. И тут я – весь в белом. Насчет благоуханных и белоснежных никто сейчас не уверен, конечно, – некоторые наоборот долго там в глубине себя барахтаются, чтоб всплыть готовой какашкой, дабы привлечь внимание почтеннейшей публики резким контрастом цвета и запаха среди оных лилий. Лютики-цветочки. Не ходи в наш садик, очаровашечка. Каждый пишет как он слышит. Медведь те на ухо. О время мое, украшают тебя мемуары, как янычары пашу: я не хочу писать мемуары, но фактически я их пишу. Соло для фагота без ан сам бля.

Эти стихи я пытался переводить старому немцу, с которым мы на аэродроме в Сиднее сидели и на кофе налегали. Немец был мудр, самовлюблен и прожорлив. Ему нравилось обобщать.

– Трагикомизм нашего положения в том, – пожаловался он, – что мы добиваемся признания в глазах людей, чье мнение презираем.

И понес строить:

– Поскольку мы имеем дело не с предметами, а с нашими представлениями о них, всякая честная философия неизбежно должна быть идеалистической!

– И реализм в литературе – на деле идеализм без берегов?

– Натюрлих!

Я чувствовал, что тупею. Потому и попытался переключить разговор на более знакомый предмет русской литературы.

– Я читал Довлатова, – сообщил немец и в испуге уставился на мое лицо.

Спас меня подоспевший Мишка Вайскопф. С опозданием на три часа он все-таки приехал меня встречать. Однажды в Таллинне я встретил его с рижским поездом, и через три дня он приехал из Киева. Он перепутал направления и потерял паспорт, а деньги у него украли. На него нельзя сердиться. В семьдесят третьем году он пошел добровольцем на израильско-арабскую войну, и угодил под трибунал за путаницу в документах и утерю личного оружия в общественном транспорте. Я его люблю. В Сиднее он спас меня от инфаркта.

– А ты знаешь, что Борька Фрейдин тоже здесь? – первым делом сообщил он, трогая машину. – В компьютерной фирме работает.

За окном мелькал зелено-белый пейзаж: слепил.

– Так далеко от Таллинна, а вполне приличный город, – сказал я. – Не скучно?

– Ты что, – оживился Мишка. – Я тут недавно вернулся из Новой Зеландии, так вот это глушь, я тебе доложу. Вообще необразишь, за каким краем света находишься: ясно только, что вверх ногами ко всему прочему человечеству. Ужас: одни бараны пасут других баранов. А у дверей, снаружи, так просто приделаны поручни, как на танковой башне: держаться, когда ураганы: чтоб, значит, на хрен не сдуло. В окружающий Мировой Океан. А тут-то еще – что ты, цивилизация.

– Господи. За каким хреном тебя туда еще занесло?

– Лекции читал. Месяц.

– Ну ты просветитель. Миссионер! Кому, о чем?

– Примерно. По Талмуду. В местной еврейской общине.

– Наконец-то выпускник тартуского университета нашел приличную работу в Южном полушарии.

– А я тебе не говорил? Я теперь работаю в Институте Талмуда в Иерусалиме. Визиточку возьми... Кстати об Иерусалиме: ты слышал, что у Генделева был инсульт?

Как мы стареем.

В девяностом году в Ерушалаиме, на дне рождения Вайскопфа, мы с Генделевым нажрались в хлам, и закончили ночь в пять часов в последнем открытом баре, доведя на русскую водку, мексиканскую текилу и израильское вино полдюжины пива «Маккаби». Перед рассветом в закоулках арабского квартала мы были обнаружены патрульным джипом и подброшены в центр.

– С ума сошли так пить? – спросил дружелюбный головорез по-русски с грузинским акцентом. – Ножа захотелось? Недавно приехали? Откуда? Я из Тбилиси.

– Гамарджоба! – ответил Генделев. – Нож – не проблема. – И стал рассказывать, как на операции он, анестезиолог, давая общий наркоз, снотворное дал, а обездвигивающее забыл – и вдруг посреди операции, брюшная полость открыта, больная села на столе. Бригада офанарела от ужаса. Хирурга пришлось буквально откачивать. Генделева выгнали из госпиталя, и больше он врачом работать не стал. Он гениальный поэт.

В доказательство и желая сделать приятное мы спели патрулю старую балладу: Корчит тело России от ударов тяжелых подков, непутевы мессии офицерских полков, и похмельем измучен, от вина и жары сатанел, пел о тройке поручик у воды Дарданелл: чей ты сын? твоя память – лишь сон; пей! за багрянец осин петергофских аллей, за рассвет, за Неву... Сентиментальное было путешествие.

Эту песню он написал к фильму «Бег» в семидесятом году, когда мы познакомились в ленинградском клубе песни. Музыку сочинил Ленька Нирман. Ленька давно в Тулузе, записывает диски, руководит хором, растит детей, живет в родовом замке жены и раз в три года прилетает в Ленинград пить со старыми друзьями и прошлой женой, которая была влюблена в меня, так он ей наврал, что я гомосексуалист, вот хитрый сука; а теперь она замужем за Серегой Синельниковым, моим же корешем и лучшим другом Сереги Саульского, с которым мы и пили в Париже и пели его старую: Мы привыкаем ко всему – к плохой погоде, к вокзальной давке и к улыбкам ресторанным, мы привыкаем даже если бьют по морде, и даже к ранам – как это странно... ату меня, мой Петербург! ату! И походит эта шизоидная fuga на анекдот про то, как пьяный мочится на цоколь Аничкова дворца, а турист-интеллигент робко интересуется у него, как пройти к Зимнему дворцу, на что пьяный рассудительно отвечает: а на фига тебе Зимний? пидай здесь!

Этим древним питерским анекдотом и напутствовал меня Генделев, когда за неимением Зимнего дворца мы обошлись тахана мерказит, то есть центральным автовокзалом, откуда первым автобусом я уехал на север, в Цфат, где жил у брата. Автобус был набит солдатами, и солдаты были молчаливы. Вчера Саддам Хусейн оккупировал Кувейт, и в Израиле пахло очередной войной. Ракетные бомбардировки начались позднее.

За два часа пересекаешь в длину полстраны. Автобус полез в горы. Водитель в кипе крутил серпантин наизусть. Маленький древний Цфат спасался наверху. От Сирии и Ливана это расстояние гаубичного плевка.

Я отоспался днем, а вечером пришел из госпиталя брат, и мы отправились посидеть и выпить кофе на Ерушалаимскую. Это единственное место в мире. Ни Дизенгоф, ни Ундер ден Линден, ни Бродвей, ни Пиккадили – нет подобных. Недолгая пешеходка вымощена розоватым галилейским камнем. С темнотой и звездами зажигаются фонари у столиков и навесов, светятся нараспашку лавки и кафе, чередуя негромкую музыку, и все приветствуют, потому что знакомы и сошлись судьбами. Раскаленные за день сосновые посадки на склонах снизу

отдают смолистое тепло в остывающий горный воздух. Рубеж Святой Земли, ветхозаветная твердыня художников и богословов: уют и вершина.

- Вали-ка ты отсюда, – озаботился брат.
- Куда? – махнул я.
- Домой.
- Где-с?
- Здесь сейчас поддерг.
- Умирать – так хоть за дело.
- Успокойся. Необученного не возьмут.
- Старший офицер батареи.
- Не смейся. Война кончится быстрее твоей переподготовки. Тут свой масштаб.

А ночью из окна различимо далеко внизу Тивериадское озеро, по контуру берега световая россыпь Тверии, и огоньки Капернаума, где впервые Христос явился рыбакам. Тищину колеблют приливы приглушенного стрекотанья: патрульный вертолет обходит локаторные и ракетные точки ПВО на соседних высотах.

Радио каждые полчаса прерывало еврейские песни последними известиями. Их завершал обзор культуры. «В Нью-Йорке в возрасте сорока девяти лет скончался от сердечного приступа русский писатель Сергей Довлатов».

- Мишка, ты слышал? – сказал брат.
- Я слышал, – сказал я.

Радио трещало дальними помехами. Земля была невидимой и огромной: нереальным множеством миров. Они слали сигналы сквозь пространство.

Жизнь оскольчато преломилась в разные измерения. Странно бережит напоминание, что живешь в них одновременно.

Мы встали и выпили водки «Кеглевич» на помин души писателя Сергея Довлатова.

И потом, после прощания, когда трехсотместный «Ил» влетел ночью в грозу над Средиземным и стал болтаться и махать крыльями так, что им полагалось оторваться, пристегнутые пассажиры напряженно пошучивали через паузы, и вместо полагающегося на всякий случай подведения итогов прожитой жизни вертелась в поверхности сознания обрывистая чепуха, уж как водится, не курить, а в туалете унитаза выпрыгивает из-под тебя, и не проникала смыслом, но помнилась, уж больно уместна, из Клячкина, с которым еще в его ленинградской молодости я студентом пил за одним столом, поскольку в ЛИСИ они учились в группе с моим дядькой и притязывали, строчка его прощальной песни, отлетной: Покидаю я страну, где – прожил жизнь, не разберу – чью...

Куда мчимся, да? Птица-тройка дает ответ, дышлом да мозги вон, впрягли в бричку лебедя, рака и щуку и задумали сыграть квартет, но мартышка в старости слаба мозгами стала, кибитка потеряла колесо, и докатилось оно и до Москвы, и до Казани, и до Трансвааля, страны моей: земля-то – она круглая, и вертится.

А борт трещал, как пустой орех, вправду и никакой тут символики, лишь однажды в Ан-2 над Кара-Кумами попав в песчаную бурю скакал я в такой болтанке, но здесь при массе и скорости трясло жестче, как бьет на рельсах, и долго, дьявол, бесконечно, я чувствовал себя как балда в проруби, ведь идентифицировать нечего будет: гражданин никакого государства, представитель никакой профессии, болтаясь меж хлябью вод и небесной неизвестно где и желающий неведь чего неведомо зачем.

А я отнюдь не убежден, что кто-то там наверху хорошо ко мне относится.

*В совершенном беспамятстве,
Таллинн —?*

2. Не ножик не Сережи не Довлатова *опыт эзотерики и экзегетики*

«Признак высшего стиля – отшлифованная темнота. Человек скользит по загадкам глубины как на коньках по замерзшему озеру.

Тот, кто комментирует сам себя, опускается ниже своего уровня».

Эрнст Юнгер

Роман «Ножик Сережи Довлатова» был окончен в марте 1994 года. Первоначальный объем текста в 250 страниц был миниатюризирован до 68. Стояла задача создать «карманный линкор», убрав большую часть содержания в подтекст и избавившись от всего не сугубо необходимого.

Впервые опубликован в журнале «Знамя» № 6 за 1994 год. Включен в авторские сборники «А вот те шиш» (Москва, «Вагриус», 1994), «Кавалерийский марш» (Санкт-Петербург, «Лань», 1996), «Ножик Сережи Довлатова» (Харьков, «Фолио», 1997; Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998; Санкт-Петербург, «Нева», 1999), «Хочу быть дворником» (Москва, ОЛМА-пресс, 2000). Суммарный тираж более 250 000 экз.

Вызвал резкую полемику в прессе. (В. Курицын, «Поверхность лезвия», «Сегодня», 17 авг. 94 г.; В. Новиков, «Изобретатель», «Общая газета», 25 авг. 94 г.; Т. Морозова, «Я бы его повесил», «Литературная газета», 31 авг. 94 г.; Ю. Тарантул, «Не баечник, но рассказчик», «Независимая газета», 19 сент. 94 г.; А. Мокроусов, «А вот те шиш!», «Огонек» № 32, 94 г.; М. Золотоносов, «Казус Веллер», «Московские новости», 13 нояб. 94 г.; Т. Блажнова, «А вот мне шиш», «Книжное обозрение», 25 февр. 95 г. и др.)

Номинировался на Букеровскую премию за лучший русский роман года.

Посредством красных глаз слон так хорошо прятался в помидорах, что его там никто не видел.

стр. 6

В Копенгагене я сделал сделку.

В концентрированном шлифованном тексте первая фраза, как известно, несет особую нагрузку. А посему заслуживает внимательного анализа.

Первая же фраза содержит местоимение «я». Что естественно свидетельствует об эгоцентричности авторского взгляда. Более того: буква «я» расположена в центральной позиции фразы, равноудаленной от конца и начала; «я» является, таким образом, точкой симметрии этой экспозиции. Но и более того: это «я» – тринадцатая буква как от начала фразы, так и от ее конца. Сакральность числа тринадцать традиционно ассоциируется с роковым стечением неблагоприятных обстоятельств и неудачей непреодолимой силы. Автор заведомо помещает себя в нежелательное положение и расписывается в собственном бессилии изменить ситуацию. Оставаясь при этом, однако, центром ситуации.

Из десяти гласных этой фразы ровно половину – пять – составляет буква «е». В восточно-славянских языках этот звук имеет как правило цветовой ассоциацией синеву, пространственной – простор, осязательной – прохладу, предметной – воду. На уровне традиционного психоанализа раскодируется как стремление к свободе, внутренняя обособленность, склонность к покою и ироническому ключу размышлений.

Предлогом «В» открывается типичный сказовый зачин по месту действия. Одновременно «в», целенаправленно указывая на ограничение по месту и времени, отражает подсозна-

тельное стремление рассказчика к интровертности: форма являет попытку выйти за пределы собственной субъективности.

«Копенгаген» для русского (особенно вдобавок советского) уха всегда звучало экзотично с устоявшимся ироническим оттенком. Синоним «изячного». Нашло отражение в шутильной присказке «Как в лучших домах Копенгагена». Подсознательные пласты: город Андерсена, знак сказочности происходящего. Ассоциации сознательные – анекдотичны, общеизвестные анекдоты «чапаевской серии»: «Василий Иванович! Как правильно сказать – „сделал фураж“ или „сделал фужер“? – Да я, Петька, в этом вопросе не копенгаген». То есть автор заведомо и исподволь внедряет в подсознание читателя сомнение в компетентности и реалистичности как своего, авторского, так и читательского взгляда.

«сделал сделку» – тавтология, просто лезущая в глаза своей неслучайной неуклюжестью. Нарочитая самопародия автоматически перекликается с фольклорными куплетами: «Маркиз маркизе сделал сделку – он поломал маркизе... брошку! И чтоб утешить свою крошку, купил ей новую безделку». Здесь сразу заявлены незадачивость автора, его насмешка над собой и всем, что он излагает. Такое вскрытие смысла кладет дополнительный оттенок на последующую в тексте покупку, с чего и начинается изложение всех действий.

«я сделал» – выражение категорически активного начала и принятие полной ответственности за сделанное.

Да – вот так примерно раскручивается одна неслучайная фраза. Типа точечного радиосообщения, когда радиограмма сжимается раз в триста по времени и выстреливается с проткнувшей воду антенны кратким и незначащим для непосвященного писком. А кто знал время и частоту – примет и раскрутит. А что?

стр. 6

Заработанные лекциями деньги сунул в свою книжку...

Лекции по современной русской прозе автор читал в университете Оденсе весной 1992 года. Платили в долларовом исчислении полторы сотни за академическую пару, и по масштабам того нищего времени я приподнялся, рассчитывая прожить год безбедно. «Книжку» – сборник рассказов «Разбиватель сердец», вышедший в Таллинне, изд. «Ээсти раамат», 1988 г.

Но зачем деньги совать в книжку, что за неуклюжая аллегория писательского труда?! Или намеки на то, что я давал взятку журналистке за то, что она меня печатала и про меня писала?..

Дело в том, что в копенгагенском метро можно спокойно ездить без билетов, вход-выход на станцию и в вагон свободный. Но раз-другой в месяц проходит кампания по контролю – и тогда можно налететь на штраф долларов в двести. Контроль работает так: вот двери уже закрываются – и вот в каждой двери вырастает по ревизору, и предпринять ничего уже нельзя, и драпать поздно.

В последний день своего пребывания в Копене я опаздывал из пригородного района, где жил, в центр: а поезд ходит раз в двадцать минут. Вскочив в последний миг с разбега, я не успел прокомпостировать в станционном автомате свой проездной на двадцать поездок – еще штук шесть у меня оставалось! Но без компостера проездной недействителен. (Отдельно мой билет на три зоны стоил бы тогда восемнадцать крон – три доллара: вот цена моего невольного мелкого жульничества.)

И сев, я шкурой почувствовал: будет облава. И опаздывать на встречу нельзя – ехать надо! Такси?! я не миллионер, да я вообще еще нищий совок. Штраф?! Да это месяц-полтора жизни всей семьей. Ну и спрятал деньги как мог – в книжку, а книжку – в глубину портфеля. Оставил в кошельке полста крон мелочью. И с преувеличенным вниманием тупого туриста углубился в изучение плана города.

Третья станция – и контроль пошел!!! Вместо паспорта я показал писательский билет: уже эстонский, серый с серебром, дружественной латиницей. На гнусавом английском запел о

своих лекциях, вымогая снисхождение. И совал в глаза свой незакомпостированный проездной. И беспомощно раскрывал нищий кошелек.

Датские ревизоры безжалостны. Все уловки иммигрантов набили им оскомину. С ледяным равнодушием он кончиками пальцев взял мою писательскую корочку, достал из планшета квитанцию и списал на нее номер, выписав под ним сумму штрафа. Жаба задушила меня: я побледнел и приготовился брать ноты фальцетом.

Мне сунули квитанцию. Я долго осознавал цифру. Ревизор виновато улыбнулся. Когда до меня дошло, я поборол желание поцеловать его непосредственно в лицо. С меня хотели содрать всего 36 крон – стоимость проезда в оба конца! В умилении я перечислил все известные мне благодарственные выражения и рассыпал мелочь по полу. Мы собрали ее вдвоем и расстались горячими друзьями.

Квитанцию я упрятал в бумажник – она служила теперь законным билетом и свидетельством моего законопослушания. Сойдя на своей станции, я на радостях употребил восемь из оставшихся мелочью двенадцати крон на бутылочку несравненного карлсбергского портера. Этот портер, кроме высоких вкусовых качеств, отличается редкостным КПД. Особенно натошак под пару сигарет. Я был восхищен своей удачливостью. Я был богат, сметлив и расторопен!

Ну и – факт закладки денег в книжку оказался начисто вытеснен из оперативной памяти...

(Становится ли теперь понятно, чем были набиты первоначально 250 страниц романа? Да их могло быть 2500 – легко.)

стр. 6

...подарил журналистке...

Мария Тетцлав – известная датская переводчица с русского и эссеистка. Рост, юмор, энергетика, обязательность. Так может выглядеть перешагнувшая порог первой молодости валькирия, которой надоело летать над битвами, и она кончила университет.

стр. 6

...из газеты с трудновоспроизводимым названием...

«Векендависен» («Weekendavisen») – примерно «культурные события недели». Мария напечатала в ней две мои большие – в разворот – статьи о русской культуре и литературе в проблематике того момента. За каждую мне с королевской обязательностью перевели по две тысячи крон – триста тридцать зеленых. Да я роскошествовал, как набоб! Естественно, даме причитались как минимум поцелуй с цветиками и кофе с рюмкой чего-нибудь. Я цвел и шикавал!

стр. 6

...полторы тысячи крон...

Шесть датских крон равнялись тогда одному доллару. Следует учесть, что социалистические страны Северной Европы очень дороги – разве что Швейцария и Япония дороже. Тридцать крон стоила тогда пачка сигарет, а от цен на водку глаза лезли на лоб еще до употребления.

стр. 6

...«Сезам, откройся!»

Приказ тайной пещере, укрывавшей посвященных и несметные сокровища в восточной сказке «Али-баба и сорок разбойников». Характерный намек на неуместное вываливание тайн и сокровищ своей жизни, хранящихся под скромной оболочкой, на обозрение малоподготовленных читателей.

стр. 6

...фотоаппарат прыгнул

из него в канал...

Естественно прочитывается как то, что объективное отражение действительности кануло в текучую воду, в которую нельзя войти дважды – тем более что это чужая вода, заграничная: не будет вам выдачи из души никакой объективности, нету ее там: фотографическое отображение реальности исключается с самого начала. Вроде это все и документальное фотографирование – а вроде одновременно и нет: фототекст не является таковым.

стр. 6

Ненавижу Венецию.

Фигура усилительно-ироническая. Ну разумеется же ни один русский не может ненавидеть Венецию, которая есть для него по определению символ далекого, прекрасного, светского и высококультурного, – шедевр духа, одним словом: эстетическая программа. Тем более если кто конкретно чуть разбирается в архитектуре, истории и вообще европейской культуре. Налицо что? Отрицание культового знака и снижение его посредством насмешки над личной бытовой деталью. Отрицание «ах-Венеции» снобистской традиции конформистов – паракультурного стада: мира телешоу кинофестивалей, высокопарного упокоения поэта-нобелевца, у которого чуто чудную строку: «Лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик». Умело и популярно одарил весь этот ансамбль памятником Казанове Михаил Шемякин – о чем оповестили в свой час все российские средства массовой информации: разумно и скучно умолчав, однако, что через месяц шемякинскую скульптуру городские власти задвинули с глаз подальше и навсегда, так что даже профессиональные гиды у Сан-Марко уже не могут осветить ее существование. Скромнее надо быть, господа.

стр. 6

Продавщица сломала ноготь...

У советских собственная гордость, по удачному выражению Маяковского. Настроение типа: я вам когти-то пообломаю. И насчет «моих любимых чисел». Число правит миром, учил Пифагор, и число есть Бог. Замучатся продавщицы управлять моим миром и всучивать мне своего Бога за презренный металл. Не по когтям им «наших душ золотые россыпи», – понятен? А любимые числа – это номер дома и квартиры одной старой знакомой, я их всю жизнь выставляю на автоматических камерах хранения.

стр. 6

«...мои любимые числа».

И возникает такая аллегория, что первая любовь хранит как на замке все мое добро в бесконечных странствиях по миру, и никому не известны знаки, посредством которых можно эти сокровища открыть, и вспоминаешь на всех вокзалах мира старую улочку, и дребезжащий трамвай, и стандартную пятиэтажку серого силикатного кирпича, три окна на четвертом этаже, звонок у деревянной стандартной двери коричневого казенного цвета, и сейчас раздадутся шаги, и голос, и куда бы ты ни приезжал – ты вновь обнаруживаешь себя в параллельном мире, где время не движется, юность вечна, вся жизнь впереди... я вам покажу когтями трогать лакированными, дешевые наймиты мирового капитала!

стр. 6

...достал бумажник и показал ей, что там пусто.

Эта тема денег и бедности проходит необходимой нитью через все повествование о литературной жизни и эмиграции; жизнь, такова жизнь... И одновременно – тема непродажности: нельзя купить того, кто все равно всегда окажется нищ; и не получается подсунуть ему эрзацы в прогорающей лавке современной цивилизации.

стр. 6

...викинги перед дракой нагрызались мухоморов.

Конечно, это упрощение и поверхностность с оттенком околонуточной сплетни. Но именно тогда, когда происходила вся эта история, пика достигла слава Льва Гумилева, блестящего и гениального компилятора, мономана и подтасовщика истории: он родил идею, и она единая владела им неотрывно – так и создаются теории. Из знаменитого сочинения «Этногенез и биосфера Земли» заимствовано и это сомнительное утверждение: ирония иронией – но и здесь выражен дух эпохи: уж и понять, глядя на нынешних датчан, вымирающих с исповедью либеральной идеи, как тысячу лет назад даны ставили на меч пол-Европы и заставляли дрожать мир.

стр. 7

Редакцию все давно покинули.

Пару потомков этих данов я все же достал за полночь в редакции, звоня и стуча до тех пор, пока на шум не пришли две девушки-полицейских, обрадовавшись развлечению. Втроем мы вскрыли подъезд, как банку с кильками, причем килек заставили самих открыть изнутри свою банку.

То был очаровательный крохотный сюжет. Ночной редактор с охранником накачались пивом как шарик. На вопрос о Марии они весело и вразумительно сообщили, что бордель через два квартала. О книге – что книжный магазин через три дома, но сейчас уже закрыт, а они книгами не торгуют. О деньгах – что они не уполномочены выдавать деньги посетителям, тем более неизвестным, иностранным и, опять же, ночью. Полицейские были в восторге от их логики.

Когда я сумел объяснить, что это я дал Марии деньги, они тут же предложили дать и им по стольку же, выразив надежду, что я не гетеросексуальный шовинист. Они оттягивались по полной. И сказали, что я лучший автор в истории редакции – сам несешь деньги, причем по отличной ставке.

Потом они вскрыли кабинет, письменный стол, извлекли мою книжку, проверили деньги и торжественно вручили мне, взяв обещание приезжать почаще и носить денег побольше. Потом я остался с ними пить пиво. Потом мне объяснили, где бензоколонка, на которой в магазинчике работает румын, у которого можно купить контрабандную водку – и я ушел, и нашел, и пришел обратно. Не знаю, как сейчас, а тогда это была отличная газета.

стр. 7

Журналистка отправилась проводить уик-энд на яхте.

Мне неизвестен журналист, даже американский, имеющий собственную яхту. Стало быть, пользоваться можно лишь яхтой друзей – богатых друзей. Одна из характерных особенностей профессии журналиста – возможность связей в мире сильных: и снобизм (милое простительное тщеславие) упоминать о высоком уровне своего вращения: не следил ведь я за ней – сама сказала насчет яхты (зачем? кого интересовало? а чтоб знал, между прочим, с кем дело имею). Семья? дети? уровень амбиций? удачные и неудачные любовные связи? Несостоявшаяся девичья мечта о муже-капитане и океанских ветрах? Простейший социопсихологический анализ любой фразы развертывает ее в обширное полотно.

стр. 7

...«Торпедоносцы»...

Емким и напрасно забытым полотном режиссера Семена Ароновича был этот фильм. «Ленфильм», 1982. Родион Нахапетов был еще стопроцентно советским актером, никуда не уезжал и играл главного героя, командира экипажа. Уже в горящем самолете, заходя в последнюю атаку на немецкий крейсер, непримиримо и зло констатирует: «Будем карать гадов!..»

стр. 7

Пароход у меня уходил...

Уж не знаю, как я покарал бы свой корабль, если бы опоздал на него. Билет на самолет Таллинн – Копенгаген стоил долларов четырехста, и их у меня тогда, естественно, не было. А билет на грузовой паром в два конца стоил меньше сотни – если ты ехал без машины, занимая лишь место в каюте для пассажиров: таких мест всего двадцать четыре, и заказывать надо было за полгода. Паромная линия Таллинн – Хельсинки – Орхус – Копенгаген существовала много лет, пока в конце девяностых ее не сняли за падением грузоперевозок и нерентабельностью. Небольшие (порядка 5000 тонн) грузовики ро-ро, авто– и контейнеровозы, выдерживали расписание с четкостью трансатлантических линий и предоставляли скромный комфорт: каюта на двоих, питание за столом команды четырехразовое и качественное, западные боевики по виду, а они тогда были отнюдь не у всех, – трое суток морского круиза. А еще можно было у второго помощника – секунда, грузового – одолжить в судовой канцелярии лишнюю пишущую машинку, пристроить ее на столик в каюте и выстукивать статьи до полного самоудовлетворения. А еще можно было с прихваченной с берега бутылкой зайти вечером к кому из состава и слушать разные морские истории. Ты постепенно въезжал в специфику, в ритуал, в моряцкую жизнь – дорога обретала смысл и наполнялась информацией. По лицам буфетчицы и уборщицы, когда все входили в кают-компанию на кормежку, ты вскоре понимал, кто с кем спит в рейсе, и кто за кого больше держится.

стр. 7

...через наш банк получишь лишь соболезнавание о валютных трудностях.

Больше всего держались, естественно, за деньги и открытые визы. А держаться за деньги в то время как раз стало особенно трудно. Если о частности – еще в 91-м, с началом реформ в России, СовВнешторгбанк заморозил все валютные вклады всех видов и форм счетов. Среди прочих граждан были ограблены и литераторы, которые были обязаны держать в этом банке все гонорары от зарубежных изданий, переведенные ВААПом через Москву. Кто не знает: ВААП – это была Всесоюзная Ассоциация Авторских Прав, и официально все отношения сов. писателя с загранич. издателем должны были строиться только через ВААП. Налог с гонорара в пользу государства он взимал от 90 до 97% – чтоб нынешние налогоплательщики усовестились и не плакали. Хотите увлекательнейшую книгу про то, как совписы боролись с ВААПом? Нет ничего проще! Как переправляли за кордон с оказией распоряжения оставить все деньги в западном банке, открыв счет на доверенное лицо, или пожертвовать фиктивно в какой-то благотворительный фонд, или скрутить сумму в черный нал и ввезти контрабандой или хорошими вещами в Союз, и т. д., и т. п. Вспомнишь – вздрогнешь – и любое слово рассыпается на песчинки, и при ближайшем рассмотрении из этих песчинок выстраивается самостоятельный роман, имеющий тенденцию стать бесконечным, каковы и есть свойства нашего познания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.